Литературный Азербайджан

ИЗДАЁТСЯ с 1931 года

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ
УЧРЕДИТЕЛЬ - СОЮЗ ПИСАТЕЛЕЙ АЗЕРБАЙДЖАНА

№ 4

2021

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА

Наиля НАДИР. *Миниатюры* 3
Натиг РАСУЛЗАДЕ. **Дорогая моя…** *Рассказ* 6
Михаил СМИРНОВ. *Рассказы* 42
Мирмехди АГАОГЛУ. **За день до праздника** 124

ПОЭЗИЯ

Наиля НАДИР. *Стихи* 3
Лео БУТНАРУ. *Стихи* 101
Алина ТАЛЫБОВА. *Переводы из английской и американской поэзии* 117

ПУБЛИЦИСТИКА

Лейла АЛИЕВА. **Турция в художественной и мемуарной литературе русской эмиграции первой волны** 37
Юрий АРАКЧЕЕВ. **«Мир добром укрась»** 108

Главный редактор – **Солмаз ИБРАГИМОВА**

Зам.главного редактора – **Елизавета КАСУМОВА**
Ответственный секретарь – **Эльдар ШАРИФОВ – СЕЙШЕЛЬСКИЙ**
Отдел прозы – **Надир АГАСИЕВ**
Отдел поэзии – **Алина ТАЛЫБОВА**
Отдел подписки и рекламы – **Джамиля ШАРИФОВА**
Литсотрудники – **Ниджат МАМЕДОВ, Егана МУСТАФАЕВА, Натаван ХАЛИЛОВА**
Корректор – **Анна КУЗЁМКИНА**

Редакционная коллегия: ***Почетный аксакал «Л.А.» Сиявуш МАМЕДЗАДЕ,*** **Кямаля АГАЕВА, Эльмира АХУНДОВА, Агиль ГАДЖИЕВ, Асиф ГАДЖИЕВ, Шелаля ГАСАНЛИ, Александр ГРИЧ (Лос – Анджелес, США), Динара КАРАКМАЗЛИ, Азер МУСТАФАЗАДЕ, Эльчин ШЫХЛЫ**

Литконсультант – **Натиг РАСУЛЗАДЕ**

Журнал зарегистрирован 19.04.96 г. в Министерстве печати и информации Азербайджанской Республики
Регистр. № 352

Адрес редакции:
AZ 1000, Баку, ул.Хагани, 53
Электронный адрес: litaz1931@gmail.com

Сдано в печать 30. 03. 2021 г.
Бумага офсетная. Формат 70x100 1/16
Печать офсетная, 8.25 печ. л.
Тираж 400
Отпечатано в типографии «OL»NKPT MMC
Тел.: 497 – 36 – 23
Адрес: ул. Мирзы Ибрагимова, 43

ПРИ ПЕРЕПЕЧАТКАХ ССЫЛКА НА ЖУРНАЛ ОБЯЗАТЕЛЬНА

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.
В публикуемые материалы редакция вносит необходимую правку.

Во всех случаях полиграфического брака в экземплярах журнала обращаться в типографию «OL»NKPT MMC

© «Литературный Азербайджан», 2021 г.

КАРАБАХ – ЭТО АЗЕРБАЙДЖАН!

НАИЛЯ НАДИР

Перевёрнутая страница

Перевёрнутая луна,
Перевёрнутые жизни.
Это снова была война,
Это снова наш долг Отчизне.

Перевёрнутая судьба,
Ночь. И небо с немым укором.
А вдали, за горой, стрельба
Между строк осыпает порох.

Перевёрнутая земля,
На осколки разбились звёзды.
Слёзы льются. Но – нет! Нельзя!
Этот час для победы создан!

Перевёрнутые часы,
Приближается миг заветный,
За горой опять моросит,
Плачет небо в зарницах ракетных.

Перевёрнутая строка,
Поседевшая разом осень.
Дрогнет пламя свечи в руках,
Только всё это будет после
перевёрнутых в миг страниц!

Реет флаг над ШУШОЙ РОДИМОЙ!
Сотни тысяч счасливых лиц,
Слёзы градом текут с ресниц,
Мы пришли! Мы с тобой! ПОБЕДИЛИ!!!

Письмо солдату

«Дорогой мой сынок!»
«Любимый мой!»
«Мой братишка!»
«Папочка, дорогой!»
«Единственный мой внучок!»

Здравствуй!

Хочу написать тебе, но рука зависает над бумагой, сердце колотится, воздуха не хватает, слезы застилают глаза. От тебя нет никаких вестей, но я стараюсь гнать от себя дурные мысли. Знаю, что это очень опасно, звонить, писать. Знаю, что враг не дремлет. Знаю, что есть предатели. И все равно жду не дождусь услышать твой голос.

У нас все хорошо. Мы слушаем нашего Главнокомандующего, радуемся победам доблестной азербайджанской армии, закрашиваем на карте в зеленый цвет каждый освобожденный город, каждый поселок, каждую деревню. Знаешь, карта наша расцветает с каждым днем все больше и больше. Словно весна на улице, а не осень. И погода стоит такая же. Весенняя. Будто сам Бог открывает нам дорогу к Победе. К победе над подлым врагом. К победе над тем, кто веками, втеревшись к нам в доверие, гнусно и подло шел к своей цели. Он разрушил наши святыни, разворовал и разграбил наши земли, уничтожил наши дома, убил наших детей и отцов и оставил без крова сотни тысяч семей.

Враг не останавливается в своей подлости и цинизме. Он не останавливается ни перед чем. Для него нет ничего святого.Он бомбит наши мирные города, убивает ни в чем не повинных детей, женщин и стариков. Такой миролюбивый народ, как мы, враг научил ненавидеть. Что они сделали с нашей землей? Они высушили ее. Они ее осквернили.

Я знаю, как тебе тяжело. Я смотрю на кадры артиллерийских залпов, смотрю на взрывы ракет и мне становится одновременно и страшно, и светло. Светло, потому что наша победа не за горами. Страшно, потому что не должны в 21-м веке погибать на войне люди. Не должны.

Нас вынудили взять в руки оружие. Мы хотели все решить мирно. Мы хотели вернуть наши земли мирно. Нас обманывали долгих тридцать лет. А теперь ты, мой герой, и вся наша армия во главе с нашим главнокомандующим показываете миру, что против подлости и зла всегда найдется сила! Потому что правда на нашей стороне! Потому что мы воюем на своей земле. И возвращаем свои земли. И когда тебе трудно, мой родной, когда силы покидают тебя, когда кажется, что больше нет воздуха, а вокруг тьма и огонь, заклинаю тебя, солдат, протяни руку к земле, что под твоими ногами, возьми горсть и сожми в своем кулаке. Сожми очень крепко. До боли. До скрежета зубов. И знай, что ты – один из тех, кто возвращает ее домой.

За тобой вся страна, мой солдат! За тобой весь наш народ, мой отважный!

За тобой наш Президент и Главнокомандующий! А над тобой реет наш трехцветный флаг! И этот флаг совсем скоро будет развеваться в нашей родной Шуше!

Обнимаю тебя крепко! Храни Всевышний тебя, нашу армию, нашего Главнокомандующего и весь наш славный народ!

В твоей земле...

Он просыпался по ночам, кричал и звал маму. Она подходила к старенькому дивану, на котором он спал, садилась в ногах, брала по очереди ступни сына и начинала разминать, приговаривая: «Ничего, bala, ничего, засыпай, сейчас пройдёт». Так происходило каждую ночь. Утром он, как ни в чём не бывало, спрыгивал с дивана и носился весь день с такими же, как он, в старой, застиранной одежде мальчишками. Носился по двору студенческого общежития, где им временно, как беженцам, выделили жильё.

Спать мальчуган ложился со страхом, зная, что она опять придет. Боль.

Она была невыносимой. Она охватывала его ступни мёртвой хваткой, словно пасть тигра, сковывала ледяным холодом кандалов, пронзала тысячами иголок и обжигала пламенем печи одновременно. Она выворачивала его ступни наизнанку, она заставляла его кричать и плакать, сжиматься в комок и выгибаться в дугу. Она не отпускала. Пока не приходила мама и молча не начинала массировать ступни сына. Он засыпал в слезах. Ему снился двор в деревне. Недавно родившиеся щенята, тыкающиеся носами друг в друга и разевающие рты в поисках соска матери. Дедушка, выпиливающий из деревянного бруска очередную поделку. Ему снился запах свежего хлеба, который бабушка доставала из təndira, Ему снился отец, широко раскрываю-

щий объятия для того, чтобы он прыгнул к нему на руки и зарылся лицом в плечо. А потом все это исчезало. Грохот, шум, падающие стены, лежащие неподвижно на земле щенята. Перед глазами оставались только грубые толстые носки из овечьей шерсти, которые мать успела на него надеть. Красные с белым узором, жаркие и колючие, ненавидимые им всем сердцем. Почему-то потом, после двух дней в лесу, стрельбы и взрывов, после того, как они оказались в большом и очень шумном городе, об этих носках говорили все, кто приходил к ним домой. Мол, они спасли его ступни от отморожения. Он больше никогда не видел ни папу, ни бабушку с дедушкой. Только маму и младшего брата, которого она привязала себе за спину тем поздним вечером, когда они бежали.

А боль продолжала приходить каждую ночь. Он уже и не ждал её. Он повзрослел и научился жить с НЕЙ. А она – с ним. Коварная, цепкая, неутомимая. Она пронзала его снова и снова. Заставляла его биться в ознобе и обливаться холодным потом от жара. Задыхаться, умирать и воскресать каждое утро. Его осматривало множество врачей и знахарей. Его лечили всеми возможными методами. Всё было без толку. На смену матери пришла жена. Заглядывала в глаза, растирала, успокаивала. Он засыпал, и опять перед глазами была все та же картина. Двор, щенки, дедушка, бабушка, təndir... Отец.

Однажды на улице, подав милостыню старой женщине и увидев мотающийся из стороны в сторону шнурок, он нагнулся, чтобы завязать его. Женщина мельком взглянула на его туфли и спросила:

– Болит?

Он изумленно посмотрел на неё:

– Что болит?

– Боль в ногах бывает?

– Допустим. А что?

– В земле твоё спасение. В земле...

На следующий день он поехал к морю, разулся и долго ходил по берегу. Вдавливал ступни в мокрый песок. Ночью боль пришла вновь. Сковала льдом, вгрызлась, впилась, разлилась новым, ещё более жестоким витком…

А потом случилась война. Он ждал её очень долго. Долгих тридцать лет. Ни жена, ни мать не стали его отговаривать. Он ушел воевать в первый же день. Дни и ночи в тяжёлых боях, раненые и погибающие товарищи, запах гари и пороха, вкус крови на губах. В одну из ночей боль была особенно адской. Он извивался на земле, обливался холодным потом, скрежетал зубами и терпел.

Утром они зашли в освобождённое от врага село. Одно из нескольких. Он шёл по заросшей бурьяном тропинке мимо развалившихся заборов, полуразрушенных домов, и ноги сами вели его. В тот самый двор, где были щенята. Дедушка, бабушка... Отец.

На месте, где когда-то стоял их дом, торчали каменными островками обломки разрушенных стен. А во дворе абсолютно целым стоял...təndir. Он медленно расшнуровал ботинки, разулся и ступил на землю. Боль, острая, нестерпимая боль пронзила его ступни, заставив невольно вскрикнуть. Обхватив руками голову, он сел и заплакал, словно маленький мальчик в толстых шерстяных носках. Он рыдал в голос, не стесняясь. Он встал на колени, брал в руки землю горстями, целовал её, умывался ею, размазывая вместе со слезами по своему лицу.

Ночью он проснулся от странного ощущения. Присел и внимательно стал оглядывать ступни. Её не было. Боли не было. Всепоглощающей, изнуряющей, сжигающей изнутри боли, Боли, мучавшей его долгих тридцать лет, больше не было. Перед глазами промелькнула пожилая женщина, просившая милостыню. «В земле твоё спасение». Он вдруг отчётливо вспомнил ещё одну фразу, тихо добавленную ею: «В ТВОЕЙ ЗЕМЛЕ».

НАТИГ РАСУЛЗАДЕ

Дорогая моя…

Рассказ

Ну, а если говорить об общем течении жизни, то, конечно, скорее, был доволен, чем недоволен, нечего Бога гневить. Все пока шло неплохо. А когда смутные, тревожные мысли, пришпоренные скукой, подступали к сердцу, брали за горло, можно было выйти из дома, пойти в скверик с памятником писателя посередине, окольцованном пахучими кустами резеды, с редкими торчащими из них провинциальными розами, где в хорошую погоду собирались соратники и соперники по нардам и домино, единоверцы по безделью, утверждавшие, что безделье, вопреки общепринятому мнению, удлиняет жизнь. Опять же – телевизор в ненастные дождливые дни, мир животных, пожирающих друг друга, обедающих друг другом, гораздо более интересный и честный, чем мир людей; книги, сохранившие своих редких приверженцев, странноватых чудаков, казалось, напрочь оторванных от современного мира; приятное, почти ежевечернее времяпрепровождение в интеллигентной компании за карточной игрой, заканчивавшейся далеко за полночь и ставшей неотъемлемой частью его жизни за долгие годы…

Порой он выходил на необъятные просторы интернета, просматривал ленту на Фейсбуке, не втягиваясь глубоко и каждый раз убеждаясь, что мир не изменился – число кретинов по-прежнему гораздо больше, чем умных, хотя бы просто потому, что умные обычно незаметны и любят молчать. Нет, все неплохо… не так уж плохо… От добра добра не ищут…

Тут Р. задумался: от какого добра? Эти поговорки, видимо, не находившие другого простофилю, липли к нему десятками, крутились в голове порой часами как старые мотивы, и вытравить их оттуда было делом нелегким – они основательно, прочно оседали и обживали вакуум в мозгах. Р. задумался. О чем он думал? Кто его знает, но задумался. Р. Р-р-р-р… Книга выпала из ослабевших рук, стукнула жестким ребром по животу, шмякнулась обложкой на пол. Он разлепил глаза… кажется, задремал. Полежал с открытыми глазами, и вдруг это опять нахлынуло.

Жизнь пуста, моя жизнь пуста, – подумал Р. Поежился от мгновенно охватившего все тело, все существо его холода, повернулся на другой бок. Не помогло. Холод крепчал.

От нечего делать и желая хоть что-то изменить в существующем укладе будней (что интересно, с недавних пор все дни его стали выходными, свободными, так сказать, воскресеньями, но своей сиамской схожестью напоминали они не праздники, а, скорее, будни) Р. сбрил бородку и усы, что носил вот уже несколько лет, подстригая аккуратно и любовно ухаживая за сей пожухлой осенней растительностью. Какое-никакое, а было занятие. Сбрил. Теперь его губы готовы к поцелуям. Осталось только найти объект, алкавший лобызать его обновленные уста. Р. терпеливо плыл по течению, боясь решительных действий, непредвиденных случайностей, и только слабо, вяло желал изменить это течение, ничего для этого не предпринимая.

Но случай подстерег его: на шестьдесят третьем году жизни Р. постигло несчастье – он влюбился.

«Как я счастлив, – думал он, засыпая, думал он, просыпаясь, – как я счастлив,

как долго ждал...»

Он врал самому себе – не ждал, просто случилось. В жизни он много любил, много и часто влюблялся. Из многих и многих любовных приключений в его жизни ни одно не заканчивалось удачно – все они заканчивались предательством, изменой, разрывом, слезами, дикими скандалами или же, напротив, – тихим, непостижимым для него исчезновением из его жизни той или иной женщины.

Теперь он понимал, что во всех, во всех – хоть и давно перестал страдать юношеским максимализмом и старался ничего не утверждать категорично – но во всех этих неутешительных финалах была его вина, вина его неугомонного характера, его себялюбия, его честолюбия; и был страх перед одиночеством и боязнь, что это одиночество у него отнимут.

Теперь он влюбился. Влюбился по-настоящему, как ему казалось, раз и навсегда, хотя грозное слово «навсегда» постепенно утрачивало свой смысл, учитывая возраст, блекло, как картина на солнце, написанная некачественными красками.

Сейчас он пойдет в парикмахерскую и побреется, хотя он брился утром, как обычно, но теперь семь часов тридцать минут вечера, а в восемь у Р. свидание с его возлюбленной. Она пока еще не знает, что возлюбленная, да и он не совсем уверен, если пораскинуть мозгами – не совсем уверен, но если пораскинуть сердцем (если только можно так выразиться, но поздно – я уже выразился), он чувствовал все это главным органом своего тела – влюблен, хотя ему предстоит всего лишь третий раз увидеть её, и на этот третий раз при встрече он намерен преподнести ей букет цветов и кое-что еще, но это пока секрет.

Она послушно, с терпеливым видом стояла возле подземного перехода с эскалатором, приносящим и уносящим экс-пешеходов, временно превратившихся в стоячих пассажиров; здесь они договорились встретиться. На ней было темно-бордовое платье из известного в городе бутика, очень скромное и дорогое, эксклюзивность которого мог бы заметить только наметанный взгляд. Он был немного разочарован. Ему хотелось, чтобы одета она была в некотором роде вызывающе, ярко, что наверняка молодило бы её, чтобы притягивала взгляды, чтобы мужчины и даже женщины оборачивались ей вслед, тогда он был бы горд, отчасти удовлетворив свое мелкое, мелочное тщеславие. Но она и без того выглядела моложавой в этом платье. Минимум косметики, короткое жемчужное ожерелье у самого горла. Он вдруг поймал себя на том, что, кажется, беспричинно, по-идиотски улыбается, подходя к ней с букетиком из трех алых роз. Ярко-красные розы, как помада на её губах, вот кстати пришлось: её туфли, её помада и цветы – это все ярко-красное.

Она, завидев приближавшегося Р., тоже улыбнулась, и улыбка оставалась на её холеном, ухоженном лице, пробудив к жизни две предательские морщинки по краям губ, пока он приближался.

– Добрый вечер, – сказал он, сопровождая слова кивком. – Я не опоздал.

– Да, я пришла чуть раньше, закончила дела, – сказала она, принимая от него букет. – Спасибо, очень красивые.

– Это ребята из моего села, – сказал он, неопределенно кивая куда-то, предположительно в сторону села. – Продавцы цветов. Там самые лучшие розы.

– Вы же говорили, что городской, – сказала она, хитро прищурившись. – Обманывали?

– Нет, что вы. Я родился в городе, но отец мой родился и до десяти лет жил в селе. Наши корни оттуда. Возьмите меня под руку, – сказал он, коснувшись локтем её руки.

– Мы, кажется, в прошлый раз перешли на «ты», – сказала она не очень уверенно, взяв его под руку. – Или нет?

– Перешли, – подтвердил он. – Но мне хотелось, чтобы мы это сделали снова.

Она улыбнулась.

– Мне нравится, – сказала она.

Он помолчал, ожидая продолжения, оно не последовало. Тогда он спросил.

– Нравится – что?

– Как вы разговариваете. Ваша манера.

– Хорошо, – сказал он. – Мне тоже.

– Ну как, еще раз перейдем на «ты»? Или рано?

– Нет, в самый раз. Ты, ты, ты.

– Как приятно, правда? – сказала она.

– Да, ты права. Мы могли бы и завтра перейти на «ты».

– Мы можем каждый день переходить, – сказала она.

– Посидим в кафе, пока не началась эпидемия? – спросил он, когда они проходили мимо открытой веранды кафе на площади.

– Что? – спросила она, удивленно глянув на него: не ослышалась? Не шутит? – Я не поняла. Пока не началось что?

– Я могу видеть будущее, – признался он просто, насколько просто можно было сказать подобную фразу. – Скоро весь мир охватит эпидемия, появится неизвестный вирус… И на наш богоспасаемый город тоже обрушится. Закроются рестораны, кафе…

– Не-ет, – протянула она с улыбкой. – Вы шутите? Ты шутишь?

– Да, шучу, – сказал он. – Потому что ничего не могу сделать, чтобы предотвратить. И доказать не могу.

– Любишь черный юмор?

– Нет, – сказал он. – Не люблю… но все будут ходить в черных масках, я это вижу достаточно ясно, и что хуже всего, женщины будут прятать губы, вот, кстати, такие восхитительные, как у тебя…

– А ты узнаешь женщин по губам? – тихо, переливчато рассмеялась она.

– Еще как узнаю, – сказал он, шутливо выпятив грудь и впившись глазами в её губы. – Но вообще-то у меня есть и хорошая новость: начнется война…

– О-о! Обрадовал… Час от часу не легче…

– И мы победим. Прогоним захватчика со своих земель, освободим Карабах, Шушу, все наши земли, разобьем врага в пух и прах…

– Ты правда это видишь? – она готова была уже поверить ему, потому что он говорил вполне серьезно, и не станет же взрослый, пожилой человек шутить такими вещами. – А когда это произойдет?

– Я сроков не вижу, но будет, будут оба события, и плохое, и хорошее…

– С тобой страшно разговаривать, – сказала она после долгой паузы, пристально вглядываясь в его лицо.

– Это редко случается со мной, но два эти события я увидел отчетливо.

– Во сне?

– Не совсем… непонятно как… может, и во сне, но не совсем во сне… Это невозможно объяснить, мозги вывихнешь… Ладно, хватит, я редко с кем делюсь этим, чтобы не отправили в психушку, и с твоей стороны предвижу шквал вопросов. Но скажи главное: ты мне поверила?

– Да, – ответила она, не раздумывая.

– Вот это главное, – сказал он, – И потому я теперь хочу сказать тебе кое-что важное… Важное для меня, – уточнил он, – и это лучше сделать, сидя за столиком. А заодно выпьем пива. Пиво любишь?

– О-о! – произнесла она, улыбаясь. – Заинтриговал.

– Пивом?

– Нет, тем, что лучше делать, сидя за столиком.

– Звучит неплохо, правда? – сказал он.

– Двусмысленно, – сказала она и, словно пожалев о своих словах, спросила: – Я не очень вульгарна?

– Что ты! Мне нравится.

Они пошли к свободному столику на открытой веранде кафе и уселись друг против друга.

– Вот, – сказал он, вытащив из кармана и протягивая ей маленькую коробочку. – Это тебе.

Она взяла коробочку, повертела её в руках.

– Можно открыть? – спросила она.

– Открой, открой, – сказал он.

Торопливо подошел официант, но он отослал его, махнув рукой.

– Попозже, – сказал он официанту.

– О-о! – теперь уже со сдержанно-восторженными нотками в голосе протянула она, разглядывая золотое колечко с мелкими кроваво-красными рубинами в ряд. – Но…

– Нет, нет, – перебил он её.

– Что – нет, нет? – спросила она.

– Никаких возражений, – сказал он. – Только восхищение.

– Ясно, – сказала она, продолжая разглядывать колечко. – Но все же, мне кажется, вроде рановато для таких дорогих подарков.

– Кто это сказал?

– Я. Только что.

– Не могу согласиться, – возразил он. – Потом может быть поздно для дорогих подарков.

– А, вот ты как! Ну ладно, тогда возьму.

И тут она долгим взглядом посмотрела на него, вначале взгляд её был внимательным, почти пронзительным, изучающим, но постепенно потускнел, стал рассеянным, потерял свою конкретную направленность, стал блуждать и наткнулся на официанта, ожидавшего, чтобы его подозвали. Кафе было полупустым, и официанты простаивали, болтали друг с другом вполголоса, посмеивались, переступали ногами, как застоявшиеся беговые лошади, соскучившиеся по скачкам.

Подошел официант, видимо, посчитав, что достаточно долго ждал в сторонке, и посетители уже готовы сделать заказ.

– Добрый вечер, добро пожаловать, надеюсь, что вам понравится наше уютное заведение, и вы станете у нас постоянными посетителями. Что будете заказывать?

Он, подняв голову, удивленно оглядел молодого официанта в аккуратном белоснежном фартуке на бедрах и подумал, что бы такое сказать, чтобы не спровоцировать очередной приступ его говорливости. Она, достав зеркальце из сумки, прятала за ним улыбку.

– Пиво, – сказал он полувопросительно, и нельзя было понять, спрашивает или заказывает.

– У нас пиво на любой вкус. Немецкое, чешское, местное, темное, светлое…

– Ты какое будешь? – обратился он к ней.

– На твое усмотрение, – сказала она.

– На ваше усмотрение, – сказал он официанту.

– Я принесу вам «эфес», вам понравится, – сообщил официант таким тоном, будто готовился сделать подарок этой весьма странной на вид паре: пожилой мужчина, которому, кстати, трудно было дать его годы, и зрелая женщина, прекрасно выглядевшая, ухоженная и на вид намного моложе своего спутника, сколько бы ему лет ни было.

– И побыстрей, – сказал Р., предупреждая готовое извергнуться красноречие официанта.

– Бегу, – сказал тот и на самом деле убежал и скрылся в кухне, хотя ничего из кухни они не заказывали.

– Если мне не изменяет память… – сказала она, но он тут же её перебил.

– Как это неприятно звучит в твоем возрасте.

– Приятно или неприятно, но я продолжу, – сказала она. – Если мне не изменяет память, ты не сказал мне в прошлый раз, как тебя зовут. А? Или сказал?

– Нет.

– Тогда говори.

– Это так важно?

– Приехали, – она чуть развела руками, давая понять, что вопрос его попросту нелеп. – А сам ты как считаешь? Удобно нам встречаться, не зная друг друга по именам?

– Меня зовут Р. – сказал он.

Некоторое время она осмысливала услышанное.

– Просто Р.? – наконец решилась спросить она.

– Да, – сказал он. – Этого мало?

– Просто одна буква, или я ослышалась?

– Одна буква. Р. Рыба, река, русалка, расизм, реквием…

– Достаточно. Я поняла. А если все-таки расшифровать, или не рекомендуется категорически?..

– Нет, почему же? – сказал он. – Но для этого нужен небольшой экскурс в далекое прошлое. Видишь ли, мой отец был большим поклонником философии Рабиндраната Тагора, и когда я родился, имя уже было готово. Экскурс закончен.

– А как тебя звали близкие, когда ты был ребенком? – спросила она.

Вопрос был несколько неожиданным, он немного замешкался.

– Забыл? – она улыбнулась поощрительно.

– Наоборот, – сказал он, – теперь я все чаще вспоминаю свое детство… людей, которых уже давно нет… места, которые изменились до неузнаваемости… Становится грустно, – он глянул на её все еще улыбающееся лицо и тоже улыбнулся в ответ, настолько заразительной была её улыбка. – Это, наверно, признаки старения, да?

– Стареть скучно, – сказала она, – но это единственный способ жить долго.

– Здорово сказано! – сказал он. – Остроумно.

– Еще бы! – сказала она. – Бернард Шоу. Ну, молодой человек, как же звали вас в детстве, минуя столь экзотическое имя?

– Робик, – ответил он.

– Робик, – повторила она. – Неплохо. Ласково. Лучше, чем полное имя. Мне нравится. Можно я тоже так буду?

– Конечно, – сказал он. – Хотя по возрасту мне вряд ли теперь подходит это сокращенное имя, да?

– Нет. Очень подходит, – сказала она. – Подходит к твоей интеллигентного вида кепке в мелкую клеточку, подходит к подобранной в тон ей рубашке с высоким воротником, подходит к седым вискам и красивым крупным рукам пианиста, к пахнущему от тебя дорогому одеколону «Саваж»… Однако ты прав, лучше я буду называть тебя Р. Кстати, можно узнать, чем ты занимаешься?

– Ты случайно почти угадала, когда перечисляла сейчас. Я джазист… Правда, бывший. Уже давно бросил, теперь у меня другая профессия, значительно больше поднимающая адреналин…

– И какая, можно узнать?

– Узнать можно, но вряд ли это тебя порадует, – сказал он шутливым тоном, слегка улыбнувшись.

– А что?..

Она хотела спросить: «А что такое?», но не успела, подошел официант с пивом и бокалами на подносе, молча поставил бокалы перед ними на стол, открыл бутылку пива, разлил аккуратно, поставил бутылку точно в центр стола и отошел молча, чего

от него никто не ожидал.

– Я люблю пить из тонких красивых бокалов, – призналась она. – Для меня это даже важнее, чем сам напиток. А ты, Р.?

Он несколько растерянно взглянул на неё, услышав свое имя в таком необычном звучании и желая еще раз послушать, проверить, как странно это звучит, произнесенное ею.

– Р., – повторила она, будто угадав его желание. – Приятно произносить. А слушать?

– Тоже… неплохо, – сказал он.

– Итак, ты меня заинтриговал, – сказала она, подняв бокал и поднося его к губам.

– Погоди! – воскликнул он, осторожно взяв из её рук бокал и опустив его на стол.

– Что такое?

– Минутку. – Он подозвал официанта, вручил ему крупную купюру, что-то тихо сказал поднесшему ухо к самому его рту официанту, и уже громче добавил: – Только живо. Одна нога здесь, другая там.

– Любишь интриговать, – сказала она. – С тобой не скучно.

– Пока не пей из этого бокала, – попросил он.

– Ладно, не буду спрашивать, раз ты такой таинственный, – сказала она.

Очень скоро появился официант, запыхавшийся, и, переводя дыхание, поставил перед ней красивый хрустальный бокал.

– Я его тщательно вымыл после магазина, – заранее сообщил он и отошел.

– О! Я оценила, – сказала она. – Но он для шампанского, а не для пива.

– Возьмем шампанское, – сказал он.

– Ну, уж нет, – сказала она. – Сейчас мне хочется пива.

Он налил ей из бутылки в новый бокал, помолчали, выпили пива.

– Итак, чем ты таким занимаешься, что мне может не понравиться? Грабишь ювелирные магазины и даришь женщинам золотые кольца?

– А тебя как называли в детстве, которое было не так давно? – в свою очередь спросил он, стараясь уйти от ответа.

– О-о! – тихо воскликнула она. – Кажется, это был комплимент?

– Ну, – сказал он.

– Что – ну? – спросила она, хитро прищурившись, глядя на него, будто собираясь обмануть.

– Как звали?

– Я первая спросила: чем занимаешься? – в тон ему произнесла она. – Не уходи от ответа.

– Ты же отгадала, – сказал он. – Граблю магазины.

– Ладно, скажи серьезно, мне интересно, честно.

– Правда интересно?

– Конечно. Все-таки не мешает знать, с кем имеешь дело. Особенно если этот кто-то со второй встречи делает дорогие подарки.

– С третьей, – поправил он.

– Да, с третьей… Но учитывая поспешность и кратковременность первой, эту можно считать второй. Так что надо знать, кто эта загадочная личность. Вдруг я попаду в неприятную историю, – она тихо рассмеялась.

– Вообще-то и вторая профессия у меня… – он не договорил, помолчал и продолжил. – А занимаюсь я делом несколько предосудительным, нарушая одну из заповедей.

– Неужели убийца? – ахнула она шутливо.

– Нет, не настолько плохо.

– Говори честно, признавайся, – потребовала она.

– Ладно. Признаюсь честно и только потому, что с самого начала нашего знакомства решил ничего от тебя не скрывать.

– Благородно, – сказала она. – Благородно и многообещающе. А теперь ответ.

– Я – игрок.

– Правда? Как интересно… А где вы играете, если не секрет?

– Ты опять перешла на «вы» или мне показалось? – спросил он.

– Просто уважение мое к вам возросло стократно – у вас такая редкая профессия, – шутливо произнесла она. – Не уходи от ответа.

– Никакого секрета нет. Могу даже повести тебя с собой, никто не будет возражать. Вполне приличная компания, есть даже один известный драматург, близкий друг министра, никаких барыг и воров в законе.

– И ты… что… этим зарабатываешь на жизнь?

– И очень неплохо. А что тебя смущает?

Она помолчала, немного подумала, а потом и вовсе не ответила.

– А основная профессия до того, как ты стал игроком, у тебя, значит, была джазист?

Вопрос заставил его задуматься, он будто не совсем был уверен в том, что говорил минуту назад. Она усмехнулась.

– Забыл? – насмешливо спросила она.

– Нет, просто я сейчас подумал, как это у тебя прозвучало: какая была профессия? Почему была, подумал я, но… кажется, на самом деле я её утратил.

– Можно узнать, что?

– Конечно. Я играл джаз, но это не было профессионально, это я немного приврал, скорее, это было хобби. А то, что я любил… и что утратил… это… – он замолчал.

Она немного подождала, потом спросила:

– Что?

– Я писал песни…

– Правда? Популярные?

– Не очень, – признался он, отмахнувшись.

– Ну-ка, напомните какую-нибудь, – попросила она с любопытством.

– Здесь нет пианино, – сказал он.

– А вы напойте…

– О-о-о! – шутливо-возмущенно произнес он.

– Ну, пожалуйста, – попросила она почти умоляюще, с каким-то детским любопытством. – Пожалста-пожалста!

Он без лишних слов тихо напел мелодию.

– О! – воскликнула она негромко. – Эту я знаю, она была популярной, песня моей юности, мы, девчонки, в школе её часто мурлыкали…

– Так я и выбрал более-менее популярную. Как я хитро поступил, а?..

– Да. А сейчас, значит, вы не пишете песен? Как жаль. А почему?

– Это интервью? Давненько я не давал интервью… А песни… Уже давно, давно, давно иссяк источник… Я примерно так и ожидал, хорошее не может длиться вечно.

Она улыбнулась.

– Ну, теперь мы можем снова перейти на «ты»?

– Да, – сказала она. – Конечно.

Потом они долго молчали, попивая пиво и глядя друг на друга, не испытывая при этом никакой неловкости, как обычно бывает, когда малознакомые еще люди подолгу разглядывают друг друга. Кафе понемногу заполнялось: молодая пара села за соседний столик, неподалеку уселось семейство с девочкой лет семи и со спящим малышом в коляске, компания молодых людей шумно рассаживалась в отдалении.

– Что? – тихо спросила она, заметив его погрустневший взгляд.

– Так. Думаю…

– О чем?

– У Вселенной нет границ, нет начала, нет конца, середины, – он вздохнул. – Это меня нервирует.

Она тихо рассмеялась.

– Понимаю, – сказала она. – Но это не мешает играть в карты?

– Нет, слава Богу. Не то у меня бы вообще ничего не осталось. Я не только в карты умею, еще в нарды, в домино, в общем – во все игры, приносящие выигрыш.

– И как обычно – приносят?

– Что приносят?

– Выигрыш, что же еще?

– Ты не поверишь, но постоянно… Это просто какое-то наваждение… в хорошем смысле… Я постоянно выигрываю. Тьфу-тьфу… – он постучал по столу. – Ты не поверишь. Не так уж много, как хотелось бы, но выигрываю…

– Отчего же. Верю, – сказала она, потеребила свою сумку, посмотрела на него. – Если я закурю, это будет нервировать тебя меньше, чем Вселенная без границ?

– Пожалуйста, кури, – сказал он.

Мимо кафе, на открытой веранде которого они сидели, прошла толпа молодых людей в шортах, пересекая площадь; толпа что-то нечленораздельно и вразнобой кричала, так что ничего нельзя было понять, но расторопный официант принес информацию.

– Какой-то придурок выступил в прессе, что мужчин, носящих шорты, надо обливать кислотой, вот они и возражают… – сообщил официант. – У вас все в порядке?

– В смысле – есть ли у нас шорты? – спросил Р.

– Нет, за столом, я имею в виду… – улыбнувшись, показав, что оценил шутку, сказал официант.

Когда они прогуливались по центральной улице, многолюдной по случаю воскресенья, он сказал, обернувшись и поглядев ей в глаза:

– У тебя серые глаза. Серые, да? Не ошибаюсь?

– А часто ошибаешься?

– Не совсем уверен, – он приблизил лицо почти вплотную к её лицу, будто пытаясь разглядеть, и со стороны могло показаться, что хочет поцеловать.

– Ну-ну-ну… – сказала она, хмурясь. – На улице…

Некоторое время они молча прогуливались, и, как ни странно, он не встретил ни одного знакомого, коих обычно встречал немало, особенно в воскресные дни, на улицах города.

– Ты что-то хотел сказать, – произнесла она утвердительно.

– С чего ты взяла?

– А разве нет?

– Хотел, – он помолчал и после паузы проговорил. – Знаешь, был старый фильм, который я давно забыл. Но до сих пор помню его нелепое название: «И это все о нем».

– И что?

– А то, что мы говорили только обо мне и ничего о тебе… Расскажи о себе…

– Но ты же у нас предсказатель, может, и прошлое угадаешь?.. – усмехнулась она.

– Вряд ли, даже пытаться не буду, – сказал он. – Я не Нострадамус.

– Все же попытайся.

– Ты выиграла конкурс красоты «Мисс Вселенная» в одна тыща семьдесят пятом году.

– Если это комплимент, то он дурно пахнет. Мне гораздо меньше лет.

– А сколько?

– Полагаюсь на твою природную проницательность, как ты утверждаешь, – с издевкой в голосе закончила она.

Они уже давно ушли с центральной улицы, не замечая этого, занятые только друг другом, и теперь шли по какому-то закоулку с низенькими одно-двухэтажными домами, с щербатым, грязным тротуаром.

– Где это мы? – спросила она.

Он молча пожал плечами и вдруг, обернувшись к ней, схватил её за плечи и поцеловал в губы долгим, нежным поцелуем. Это было неожиданным для неё, но она, тем не менее, спокойно приняла поцелуй, хоть и не ответила на него. Потом она посмотрела ему в лицо изучающим взглядом.

– Хочешь что-то сказать, дорогая моя? – спросил он.

Она покачала головой, снова взяла его под руку, и они пошли дальше по незнакомой улице.

– Дорогая моя… – повторила она его слова.

– Тебе понравилось? – спросил он.

– Да, – призналась она. – Понравилось. Так уж случилось, что давно никто меня так не называл. Всерьез не называл, как ты сейчас, не вскользь, как дежурное обращение… А тебя?

– Ну, кому я могу быть дорог?.. Я был женат, но давно развелся. Есть дочь, взрослая, замужем, живет в Италии, мы почти не общаемся, очень редко… Ты ведь это хотела узнать?

– Да, господин ясновидящий, или как тебя точнее величать?..

– Ну, а ты?.. Меня тоже интересует твое прошлое, раз уж ты стала напрашиваться на поцелуи.

– Вот наглец!

– Имя мне известно. Теперь коротко, мадам, биографию, пожалуйста.

– Родилась я в одна тыща… – начала она шутливо.

– На этом и остановимся. Чем занимаешься? Как видишь, я не слишком любопытный, не люблю совать нос в чужие жизни, не то спросил бы на первой же встрече.

– А теперь суешь нос в чужую жизнь? – спросила она, посмотрев внимательно ему в глаза.

– Да, – сказал он. – Это потому, что надеюсь, что эта жизнь не будет для меня чужой, дорогая моя…

Они молча прошлись еще немного.

– Ты понимаешь, почему я так разоткровенничался с тобой с первой встречи? – спросил он, посмотрев ей в лицо без улыбки, в каком-то напряженном ожидании ответа.

– С третьей, – поправила она.

– Неважно…

– Да, – она тоже стала серьезной. – Понимаю.

– Я знал, что поймешь, – сказал он, облегченно вздохнув, и после долгого молчания, которое не тяготило ни его, ни её, он попросил уже с почти требовательными нотками в голосе:

– Расскажи о себе.

– Я была замужем, – просто и сразу начала она без всякого кокетства. – Он был намного старше, очень богат, в Чехии у него была своя солидная ювелирная фирма или что-то вроде того, мы поначалу там и жили, в Праге… На браке настояли мои родители, хотя разница в возрасте у нас была почти в тридцать лет… Я была красавицей в те годы, так что ты не очень ошибся насчет мисс Вселенной. Он влюбился в меня, и я стала его третьей женой, двоих до меня он уморил своим несносным характером… Шучу. С обеими развелся. Детей у нас не было… А год назад он

умер в возрасте восьмидесяти одного года. Инсульт. Не помогли никакие миллионы…

– Которые он оставил тебе…

– Ошибаешься. Когда умирают такие люди, у них обычно оказывается огромное количество близких родственников. Мне противно было вступать с ними в борьбу за наследство. И, кстати, никакого завещания он не оставил, умер внезапно, в «скорой», на полпути в больницу. Но у меня есть свой салон красоты, восемь мастериц трудятся, если тебя это интересует… Так что свой кусок хлеба я зарабатываю, слава Богу, честным трудом.

– Не в укор мне будет сказано? – продолжил он за неё. – Или в укор?

– Да что ты? Я и не думала…

Вот так они болтали о том, о сем, шутили, соревнуясь в остроумии, серьезные темы, которые обоих интересовали, перемежали с совершенно неинтересными, второстепенными, о чем можно было бы и не говорить, гуляли… И…

Одним словом, они стали жить вместе.

Мне бы здесь и закончить, пока ничего не случилось, однако не думаю, чтобы это им понравилось. Не понравилось бы ни ему, ни ей. Оба они любили всякое дело доводить до конца. Особенно он, любящий рисковать и привыкший, что риск, как правило, оправдывает себя. Игрок…

Он переселился в её просторную квартиру в престижном районе города. Вопрос о том, чтобы жить в его малогабаритной квартирке, в сомнительной высотке, расположенной в сомнительном районе, сразу отпал, и он не стал возражать, просто не мог не предложить со своей стороны, предложение было отклонено, и он это принял вполне нормально. Её салон находился недалеко от дома, и это было еще одним веским аргументом, чтобы ему перебраться к ней, а не наоборот. Время от времени он отправлялся к себе на квартиру и там бренчал на стареньком пианино, стараясь выжать из себя нечто похожее на мелодию, делал вялые попытки возобновить давнишний творческий настрой, но почти всегда получалось повторение уже пройденного, пальцы невольно выдавали на клавишах нечто очень напоминавшее его удачные песни, созданные давно и успешно забытые всеми, кроме автора. Так он думал, уходя с головой в свои нерадостные мысли. Хотя она доказала ему обратное, что не все забыли его удачные опыты. Но теперь не получалось, не получалось ничего путного.

У нее тоже было несколько необычное имя, хотя она так не считала – так звали её бабушку: Лола. Впервые услышав это имя, Р., не разобравшись, стал звать её вполне популярным – Лала. Но она тут же поправила его.

– Мне нравится мое имя, в отличие от некоторых присутствующих, недовольных своим, – полушутя проговорила она.

Он не стал возражать, да, он был не в восторге от своего имени, но и никогда не думал, чтобы поменять его, даже после смерти отца, которого он мог бы, наверное, обидеть этим шагом. Он как-то привык, притерся к своему имени.

Ну, так вот, Лола и Р. стали жить вместе. Она его называла так: Рээ. Ему было безразлично. Жизнь продолжалась, она работала, разбиралась со своими проблемами, неплохо зарабатывала, и с каждым днем все больше привязывалась к нему. Может, любила уже?.. Черт их поймет, женщин… Он редко называл её по имени, обычно только – дорогая моя…

Он тоже продолжал жить как прежде, ничего не меняя в укладе своего существования на этой земле.

Однако кое-что все же произошло. Сначала он не очень обратил на это внимание, потом насторожился, когда это стало повторяться вновь и вновь, потом растерялся. Фортуна отвернулась от него. Он, привыкший почти к постоянным, за

редкими исключениями, выигрышам, стал проигрывать.

Поначалу большие ставки, потом Р. поостерегся, стал играть по маленькой, но все равно проигрывал. Когда он через несколько недель ежевечерней игры вдруг в порыве отчаяния, почти неосознанно, признался ей в этом, она приняла его признание очень спокойно.

– Брось ты вообще играть, – посоветовала она. – Разве это так необходимо?

Он помолчал и после паузы проговорил.

– Ты думаешь, это так легко?

– Не будь мальчишкой, – она несколько натянуто, напряженно рассмеялась. – Вспомни, сколько тебе лет.

– Ты не понимаешь, – сказал он. – Это моя жизнь. И уже давно. Наркоманы говорят – подсел на иглу, я с молодых лет подсел на игру. Я не представляю себя без этого, это заполняет мою жизнь, наполняет её смыслом, хоть каким-то смыслом, заменяет для меня то, что я, к сожалению, утратил… Игра – моя жизнь, моя страсть…

– А я? Разве я не твоя жизнь, не твоя страсть?.. Что же я, на втором плане для тебя?

– Нет, нет… На первом. Но это… Нет… Я не могу объяснить… Это как болезнь, как наваждение…

И он продолжал играть и проигрывать, почти каждый вечер его тянуло в знакомую компанию, которая вскоре сменилась малознакомой, потому что из старой компании с солидными игроками его прогнали одними взглядами, опасаясь, что такая неудержимая страсть и жажда выигрыша во что бы то ни стало может закончиться пошлой и вполне предсказуемой аферой, на которую пускаются неудачники, шулеры и опытные мошенники, ему отказали от дома, где шла солидная игра, а потом он и вовсе скатился в подозрительные компании людей с уголовным прошлым и бандитскими рожами, но продолжал посещать их в надежде, что вот сегодня, именно сегодня удача улыбнется, вернется к нему удача, которая долгие годы не изменяла ему… Хотя отлично чувствовал чутьем опытного игрока, что окончательно потерял нюх, и внутренний голос, как раньше, обещавший удачу, обманывает его каждый раз, насмехается, будто водит за нос.

Р. все реже возвращался теперь к Лоле, оставаясь или в подозрительных квартирах, притонах с дешевыми девицами, где шла игра, или возвращаясь в свое давно заброшенное жилище, где за неуплату давно отключили свет, набралась куча пыли на мебели, на забытом пианино, но ему не нужен был свет, возвращался он мертвецки усталый и, как был в одежде, падал на неприбранную постель и засыпал, как убитый, потеряв счет дням, числам, путая дни и ночи…

Лола видела, как он стремительно опускается, как не может справиться с пагубной страстью, и поначалу старалась образумить его, помочь вернуться к нормальной жизни.

– Пойми, в твоем возрасте это даже смешно – поддаваться… такому… Это ведь не наркотики, от которых физически трудно оторваться, я видела наркоманов, это несчастные люди. Это даже не алкоголизм… но крепкие люди и это преодолевают… Ты солидный, пожилой человек…

Но все её слова были бессильны, липли к стенам её комнат с красивыми обоями, сползали по стенам, как следы блевотины. Она понимала, что говорит не то, что это не те слова, слабые слова, но сильных, настоящих найти не могла.

– Дорогая моя, дорогая моя… – тихо, обессиленный, произносил он. – Ты права… да… я брошу. Скоро брошу… но пока… Ты не могла бы мне одолжить немного денег. Я верну. Интуиция мне подсказывает, что сегодня я буду в выигрыше… О, эта интуиция… Чутье… Я же точно чую выигрыш. И знаешь, знаешь, это только один раз нужно! – с лихорадочно горящими глазами убеждал он её, хватая за руки и оставляя синяки на белых, полных, холеных руках её. – Стоит один раз только выиграть. И

тогда все пойдет как раньше. Один раз. Всего один раз. Я знаю.

Но именно в тот день, когда интуиция пообещала ему выигрыш, он столкнулся с новым игроком в уже привычной компании мазуриков, который попытался играть нечестно. Р. тут же раскрыл его, завязалась драка, новенький был вооружен, выстрелил в Р., не попал, к счастью, и убежал, захватив все деньги со стола.

– Кто его привел!? Кто его привел!? – в ярости кричал Р., хватая за грудки первого попавшегося под руку игрока.

Игра шла в подвале, в кочегарке старого пятиэтажного дома, и ушел он оттуда немного помятый, с расползшимся под глазом синяком.

Несколько дней он не показывался у Лолы, не заходил он и к себе домой, зная, что она будет искать его в первую очередь именно там.

Но однажды, придя к ней именно в тот день и час, когда – он знал – её не бывает дома, как не бывает по воскресеньям и домашней прислуги, он отпер дверь своим ключом, который еще оставался у него с первого дня их совместной жизни, полез в ящик её стола и, забрав внушительную пачку денег, тихо, торопливо выбежал из квартиры. Свой телефон он давно не носил с собой, не имея в нем никакой необходимости, он оставил его у себя в квартире, и в нем накручивались вызовы, звонки и сообщения, на которые некому было ответить.

«Вот я уже и вор», – подумал он горестно, но как-то вскользь, головой, и тут же мысль пропала, растворилась, не задев сердца и совести. Потому что её место заняла другая, более обнадеживающая мысль: эти деньги принесут мне удачу. Он почему-то совершенно безосновательно был уверен, что выиграет и вернет деньги.

Он познакомился с новыми людьми, эти были несколько почище, чем компания вооруженных карточных шулеров и аферистов, ему они показались вполне порядочными, игравшими честно, но с виду несколько потасканными, видно было, что жизнь потрепала их и потом усадила за карточный стол. Да, впрочем, и он тоже не казался исключением среди них, лоск и довольный вид улетучились, растерянность и неуверенность во взгляде выдавали в нем неудачника, безуспешно боровшегося со своим невезением.

Влюбленность, обрушившуюся на него, казалось, совсем недавно, а может – давно? (время в бесконечной, непрекращающейся игре летело стремительно, незаметно, оставляя за собой трупы дней), он начинал забывать, точнее – старался не вспоминать: это мешало ему вести тот беспокойный образ жизни, который он избрал себе в последнее время, а может, было бы точнее – образ жизни, который избрал его, словно наметив его, Р., своей жертвой.

Лола постоянно искала его, у неё, в отличие от Р., чувство к нему все больше возрастало, охватывая всю душу, и что-то материнское было в этом её чувстве, она страстно желала заботиться о нем, найти его и не выпускать из объятий, окружить заботой и вниманием, отринуть от себя все остальное, все нескончаемые надоедливые проблемы и дела, связанные с работой, с её бизнесом, и заниматься только им, Р.

Забрав у неё деньги, он на следующий день позвонил на её работу, в салон, и повинился, но обещал вернуть все до копейки: вот только подожди, я все верну, обещаю, слово мужчины… За все время, что он говорил по телефону, она не проронила ни слова, ни звука, внимательно слушая его с подступавшими к горлу слезами, хорошо понимая, что он говорит в точности, как закоренелые алкаши, продающие все ценное из дома, чтобы удовлетворить свою пагубную страсть, да, сейчас он ничем не отличался от этих больных, несчастных людей. И лексикон был почти тот же, одно к одному…

– Я об одном прошу тебя, Р., вернись, – сказала она, выслушав его до конца и дождавшись паузы – Я все устрою… Не думай о деньгах, – и, не сдержавшись, за-

плакала. – Ты мне нужен… Я умоляю тебя – вернись…

И слушая в трубке отбойные гудки, Лола, дорогая Лола вдруг подумала, что это была последняя её любовь, и такое вряд ли еще повторится, вспомнила их ночи любви, их гуляния по приморскому бульвару, который они оба любили, его глупые, бессмысленные пророчества про болезни, что охватят весь мир уже очень скоро…

– И что тогда мы будем делать? – шутливо спросила она однажды, когда сама завела об этом разговор. – Будем пировать во время чумы?

– Будем сидеть дома, – сказал он, – И заниматься любовью. И я буду любить тебя еще сильнее…

– О-о! Это меня устраивает, – коротко, тихо рассмеялась она своим переливчатым восхитительным смехом, который он так любил, и за который он любил её еще сильнее.

– Тогда, может, начнем прямо сейчас? – спросил он, ухитрившись произнести эту фразу утвердительно.

И они вернулись домой вместо того, чтобы отправиться, как было запланировано, на премьеру нашумевшего спектакля, на который ему прислал билеты знакомый театральный режиссер.

А дома, уже безумно устав и расслабленно лежа в постели, не имея сил разговаривать, она, тем не менее, спросила неожиданно:

– А как ты, провидец, видишь мое будущее? Скажи мне, кудесник, любимец богов… Или ты еще не заглядывал так далеко?

– Нет, заглядывал, – сказал он серьезно.

– Ну и как? – без всякого интереса спросила она, не веря ни в какие его способности предсказывать будущее. – Скоро ли помру от любви, уважаемый Р.?

– Я это вижу туманно, – ответил он неохотно, с заметно испортившимся настроением. – Очень смутно.

– Вот, пожалуйста, – сказала она, – повальные болезни видишь не смутно, а что касается любимой женщины, так тут ты и лапки кверху… Может, хватит трепаться? А кстати, почему ты не забьешь тревогу, если знаешь про назревающую беду в мире? – спросила она, уже почти засыпая.

– Но как бороться с тем, чего еще нет? Как предотвратить то, что еще неизвестно? Я пробовал добраться до влиятельных людей и до кое-кого добрался, но меня приняли чуть ли не за душевнобольного… И хватит об этом. Я спать хочу.

В ту пору были их счастливые дни и еще более счастливые ночи.

Теперь, опускаясь на дно, Р. постепенно терял человеческий облик, к имеющейся беде прибавилась еще одна, подтверждая старую поговорку: пришла беда – открывай ворота: он стал пить. Но прежде чем он позаимствовал у Лолы её деньги из ящика стола, который никогда не запирался, Р. продал из своего дома все, что там имелось – от мебели, пианино до красивого нового верблюжьего одеяла – так что изредка, падая от усталости, возвращаясь домой, чтобы отоспаться, он, глядя на голые стены, с горечью думал, что теперь, если он опять крупно проиграется, ему только остается продать квартиру. Он стал замечать в себе мысли и поступки ненормального человека: вдруг останавливался посреди людной улицы, раскинув руки, словно хотел обнять шарахающихся от него прохожих, или делал реверанс непонятно в чей адрес, строил рожи, громко беспричинно хохотал, останавливался и начинал биться головой об стену дома… Мысли были и того хуже.

«Это она, гадина, виновата, – думал он. – Это из-за неё я в таком дерьме. Как только я её встретил, все пошло наперекосяк, я стал проигрывать… залез в долги. Однажды даже побили, не помню, где, в какой компании… Это она, ведьма, виновата… Не могу понять, что я в ней такого нашел? Влюбился, как дурак, как мальчишка… Ну да, красивая женщина, холеная, ухоженная, белотелая, мечта сексуального маньяка… но, однако, сколько же хлопот от этой влюбленности… в мои годы это не-

легко...».

А ведьма искала его, тосковала и не знала, как вернуть. Она за эти месяцы и впрямь привыкла к нему, и, несмотря на то, что обладала твердым характером и никому не позволяла играть собой, но Р. стал вдруг исключением в её, прямо сказать, не бедной на любовь биографии.

Никогда нельзя понять, почему людей тянет друг к другу, так же, как и нельзя ответить на этот вопрос. Почему ты меня любишь? За что ты меня любишь? Как женщина умная, практичная и далеко не сентиментальная, она понимала, что нельзя ответить на подобные вопросы, как и бессмысленно задавать их, это такие тонкие ощущения, такие стремительные, пронзительные и в то же время необъяснимые чувства, что... Но эти чувства, уже переросшие в любовь к нему, Р., окрепли со временем, становились постепенно и уже стали главной целью её жизни, и она была готова все сделать для него, всем пожертвовать, чтобы помочь ему, вытащить его из мрачной, беспросветной ямы, куда он погружался все глубже с каждым днем, с каждым разом, когда отталкивал её, упрямо отводил от себя её руку, протянутую для помощи... Она вспоминала их лучшие дни, когда вечерами, в часы их неистовой любви, она, изнемогая, полностью, казалось, растворялась в нем, исчезала и возрождалась вновь, растворяясь снова и снова, и потом, ночью, когда оба, утомленные, спали, она прислушивалась к его дыханию, и это совсем не было похоже на дыхание спящего мужчины, а скорее – ребенка, еле слышное дыхание младенца, и это её умиляло, она лежала в его объятиях, внушая себе, что должна заботиться о нем, что он почему-то в её ночном представлении – беспомощный, как ребенок, и она должна, обязана о нем заботиться, и пока он спал, она долго не могла отвести от его лица глаз, бессознательно улыбаясь и боясь разомкнуть объятия, чтобы не нарушить его чуткий сон, чтобы он не проснулся. К нему она привязалась и думала и даже планировала зажить спокойно, семейно, отдохнуть в тихой гавани, как она мечтала, и от напряженной работы, где каждый раз возникало множество проблем, и от своих многочисленных знакомых и шумных приятелей, ей хотелось тишины и уединения, и Лола полагала, что эта тихая гавань будет наполнена её с Р. взаимопониманием, молчанием, полным понимания и, может быть, долгой, долгой любовью. Глубоко в душе она была очень одинока и ощущала ледяное прикосновение этого одиночества и хотела избавиться от этого холода, проникавшего в душу...

Р. пересчитал ее деньги: четырнадцать тысяч семьсот в долларах, на миг ощутил себя миллионером, почувствовал, что мог бы, как раньше бывало, сорить деньгами, и тут как раз встретил своего знакомого из ранней, приличной компании, где все играли не затем, чтобы выиграть, а чтобы приятно провести время в кругу приятных, интеллигентных людей, заодно чуть поднять адреналин в крови, возбудиться, растрястись, когда игралась большая ставка. Знакомый, неуверенно посматривая на Р., подошел к нему.

– Я еле узнал вас, – признался он, вглядываясь в похудевшее, заросшее трехдневной щетиной лицо Р. – Что это с вами? Не больны?

Р. усмехнулся, и какая-то незнакомая в его лице сумасшедшинка неприятно удивила бывшего товарища по игре.

– Скоро мы все заболеем, – загадочно сообщил Р. – Ведь я, вы не знаете, вижу ближайшее будущее. Так что будьте готовы к самому худшему, неприятному повороту жизни.

– Не понимаю вас, – холодно ответил знакомый.

– Ничего, скоро поймете, – еще более загадочно сообщил Р.

– Вы все еще играете? – поинтересовался бывший товарищ и, окинув его понимающим взглядом, покачал головой: давно не глаженные брюки с пузырями на коленях, грязный воротник рубашки, разношенные ботинки не по сезону. – Вам надо бросить, пока не стало хуже. Это бывает – везение не всегда благосклонно к нам, и

тогда следует вовремя остановиться.

– Вы куда направляетесь? – несколько бесцеремонно и потому намеренно нахальным тоном спросил Р. – Не в вашу ли компанию удачливых игроков?

– Именно туда, – ответил товарищ.

– Возьмите и меня, – и Р., вытащив из кармана, потряс пачкой купюр. – Деньги есть, в долг играть не стану, как бывало, и пока от меня не пахнет подворотней…

Старые знакомые встретили Р. сдержанно-шутливо, будто расстались только вчера, но были среди них и два новичка, молодые люди лет тридцати-тридцати пяти, которые сразу не понравились Р. Оба были в дорогих костюмах, пахли дорогим одеколоном и снисходительно посматривали на Р. Они явно пришли сюда швырять деньгами, что более или менее успешно и продемонстрировали, все больше и больше озлобляя Р. Было похоже, что оба они – сыночки высокопоставленных папаш, что и соответствовало действительности. Р. настороженно прислушивался к себе, ожидая подсказки со стороны интуиции, на которую полагался раньше; он был талантливым игроком и знал это, и это знали остальные за столом, кроме двух молодых людей, и теперь Р. старался обмануть судьбу, утереть нос фортуне, внушая себе и стараясь поверить, что пришел сюда не ради выигрыша, а так… поразвлечься, как эти богатые сосунки, пришел проиграть, швырять деньгами, но как ни старался убедить себя в этом, выползали, как черви, мысли о том, что непременно надо вернуть деньги, которые он взял без спросу у Лолы, а поэтому обязательно надо выиграть, и эти мысли напрягали его, что было недопустимо, потому что мысли эти были проигрышными, он гнал их от себя, но вновь и вновь они вползали в голову и стремились сосредоточить Р. на себе.

Он проиграл, проиграл все до последнего доллара, хотя в середине игры фортуна все-таки повернулась к нему своим озабоченным лицом, он стал выигрывать, но это длилось недолго. И в итоге он проиграл, проиграл все четырнадцать тысяч семьсот и проиграл именно двум молодым везункам. Он хотел уже подняться и покинуть компанию, но вдруг подумал, что мог бы продолжить игру в счет своей квартиры, все-таки она чего-то стоила, но не стал озвучивать эту свою идею, совершенно оглушенный проигрышем, стараясь сообразить, что теперь скажет Лоле, даже несмотря на то, что она так легко отнеслась к его воровству. А то, что этот его поступок и был настоящим воровством, не подлежало сомнению, – думал он мрачно, – вещи надо называть своими именами.

Он, взяв себя в руки, спокойно попрощался и вышел из квартиры, где шла игра, вышел на улицу и побрел бесцельно, не зная, куда выведут его ноги, шагал, тупо глядя перед собой и ничего не замечая. «В моем положении порядочные люди стреляются», – вертелась мысль в воспаленном мозгу его.

Р. забрел в глухой переулок и тут вспомнил, что они с Лолой как-то тоже невзначай оказались тут, среди старых, заброшенных домов, с кучей мусора, наваленного на углу дома с темными, слепыми окнами.

Прямо посреди улицы сидела нищенка, она помахала Р., подзывая.

Он подошел и глянул на неё. Нельзя было определить её возраст. Морщинистое лицо и в то же время живые, яркие, молодые глаза, полуседые волосы и в то же время уложены, как у молодой кокетки. Она улыбалась ему, глядя снизу вверх, виновато, хитро, лукаво, будто в чем-то хотела признаться, но не решалась.

Только теперь он обратил внимание на то, что перед ней разбитая детская коляска, помятая и грязная, вполне соответствующая непонятному, неряшливому одеянию старухи – то ли платье было на ней, то ли завернута была женщина в просторную черную чадру, не поймешь. Он осторожно приблизился, уловив жуткие запахи, исходящие от неё, и, вытянув шею, заглянул в коляску. Там лежал ребенок, маленький, примерно – годовалый, но лежал как-то странно, не шевелился и… не дышал, как

показалось Р.

Он нагнулся над ребенком, охваченный страхом, и убедился, что тот был мертв. Р. резко повернулся к женщине, хотел что-то спросить, сказать, еще не зная, что слетит с языка, и увидел, что мерзкая тварь тихо хихикает с таким видом, будто выиграла спор и хочет сказать: ну как, убедился, что я права?

Р. отпрянул от старухи – теперь она уже откровенно выглядела как старуха, с седыми грязными волосами, падавшими на лицо неряшливыми космами, с потухшим взглядом, с беззубым провалившимся ртом. И тут он заметил, что она что-то протягивает ему в костлявых пальцах, похожих на щупальца осьминога, вылезших из-под чадры.

– Ч-что?.. – пугливо произнес он, заикаясь.

– Возьми и возвращайся туда, – проговорила старуха приказным тоном, уверенная, что он поймет.

– Куда?.. – тем не менее, спросил он.

Старуха не отвечала и только рукой сделала легкий жест, будто прогоняла его.

Он, мало что соображая, отошел от неё, пошел, петляя по улочкам, вышел, наконец, на центральную, ярко освещенную улицу, где взад и вперед двигались толпы народа, громко переговариваясь, смеясь, бросая друг на друга любопытные взгляды, и только тогда заметил, что держит что-то в кулаке. Разжав кулак, он увидел смятую мелкую купюру и тут же, не удивившись своему решению, прямиком направился в компанию игроков, которую покинул совсем недавно, проигравшись в пух и прах. У него было смутное ощущение, словно кто-то невидимый руководил им, его поступками, вел его, лишенного воли и подчинявшегося, как сомнамбула, ничего не сознавая, ничего не соображая.

Старые соперники по игре не удивились его возвращению, приняв, как должное, что он играет такую ничтожную сумму, которую и суммой назвать трудно, но через два часа Р. вышел от них с карманами, набитыми деньгами, он унес крупный выигрыш, вернув почти все, что проигрывал за последнее время. И теперь со смешанными чувствами, с перепутавшимися в голове мыслями он шел к Лоле, шел, чтобы попросить у неё прощения за свое поведение, за то, что бросил её, не хотел вспоминать, не хотел видеть, он шел к ней и знал, что она любит его, любит, простит и встретит с радостью. И он, измучивший её и сам измученный, теперь хотел доставить ей радость, хотел чтобы она стала счастливой, насколько это было возможно, хотел сказать ей – дорогая моя, дорогая моя… И не надо было других слов, она бы поняла и так, дорогая моя…

И тут Р. проснулся, обнаружил себя на скамейке в незнакомом небольшом сквере, протер глаза, огляделся, потрогал пустые карманы, хотел подняться, но был не в силах, был крайне утомлен, смертельно усталый, он так и остался сидеть в ночном сквере на холодной скамейке…

И вдруг, будто почуяв чьё-то присутствие рядом с собой, он резко обернулся и увидел женщину, которой не было минуту назад, когда он проснулся; он внимательно поглядел на незнакомую, жутко уродливую женщину в мешковатом платье, державшую за ручку дешевую детскую коляску. Женщина улыбалась, обнажив неровные, давно не чищенные зубы, поцокала языком, как бы осуждая Р. за что-то. Он, уже объятый страхом и недобрым предчувствием, осторожно заглянул в коляску и с воплем отстранился – там лежал мертвый младенец, а женщина, хихикая, грозила ему пальцем…

Р. с криком проснулся и, озираясь, не сразу сообразил, что находится у себя в старой своей заброшенной квартире.

Он стал пить, все чаще прикладывался к бутылке, и так как бутылки и содержимое их были обычно дешевыми и крайне подозрительными, Р. стремительно спивался, становясь алкоголиком, и спиртное в его пожилом возрасте успешно в короткие сроки разрушало его организм и психику, его посещали галлюцинации, совершенно фантастические, невиданные, абсолютно не связанные ни с его реальной жизнью, ни с его желаниями и мечтами, которые становились, по мере деградации, все более убогими; но видения были навязчивы и необъяснимы. Впрочем, он недолго ломал голову над этими снами, посещавшими его наяву, или явью, реальностью, перемешанной со снами.

Это была его личная беда, и Лолу заволокло туманом, хотя она не переставала его ждать, но вскоре появилась и общая беда, которую он полушутливо, не надеясь, что поверят, предсказывал в ту пору, когда только познакомился с ней, с Лолой, дорогая моя…

На мир обрушилась неизвестная болезнь, вирус, к чему поначалу люди относились не серьезно, не очень серьезно, очень несерьезно; появились поначалу самые законопослушные люди в масках, похожие на гонцов, приносящих дурные вести, потом их становилось все больше, все больше, так же, как и зараженных этим неизвестным вирусом, так же, как и умиравших от этого неизвестного вируса. Разные ходили слухи, от самых нелепых до подкрепленных научными выкладками известных профессоров-медиков, научно доказывающих, что вирус – не что иное, как разновидность обычного гриппа, и не следует паниковать, если… Их оппоненты, наоборот, настаивали на том, что паниковать стоит, то есть, не то, чтобы паниковать, но крайне серьезно относиться к новому, еще не изученному наукой и вследствие этого уносящего все больше человеческих жизней вирусу.

– Это все масоны, – утверждал простой люд, соглашаясь с популярной версией, что кучка супербогатых семей, управляющих миром, решила сократить население земного шара путем истребления оного страшным таинственным вирусом, против которого ученые всего мира пока что тщетно и безрезультатно ищут эффективную вакцину. – Вот скажите, почему ни одна семья из этой могучей кучки не хочет вкладывать деньги в поиски избавления от этой болезни, пандемия все больше и больше охватывает мир, а эти толстосумы молча наблюдают из своих бункеров с золотыми унитазами, когда от населения останется одна десятая.

Другая часть населения утверждала, что вирус – это кара божья за неправедную жизнь людей на земле.

– Это Аллах карает своих взбунтовавшихся против Него, взбесившихся чад. Аллах хочет вернуть их к праведной жизни, – говорили богобоязненные люди.

Оптимисты все-таки верили, что избавление придет, вакцину от короновируса изобретут, найдут, и мир будет спасен.

Пьяный Р., шатаясь по улицам в маске на запястье, ухмыляясь, слушал эти разговоры, домыслы, предположения и думал порой, что хорошо, что ему недолго осталось, что он не переживет этот коварный вирус, не увидит избавления человечества, которое, выздоровев, победив болезнь, вновь обратится к своим неправедным делам.

– А ведь я предупреждал! – орал он порой, став посреди улицы, раскачиваясь пьяно. – П-р-р-едупреждал.

– Гражданин, наденьте маску, как полагается, – подходил к нему полицейский. – Не то будете оштрафованы.

– Иди, оштрафуй! – орал Р., выворачивая пустые карманы. – Видал я вас всех, вашу мать!..

Так он шлялся по улицам, порой, будучи в особо сильном алкогольном возбуждении, изображая из себя мессию и поучая толпу, провожавшую его понимаю-

щими взглядами.

Пути его с Лолой не пересекались, потому что он избегал района, где мог бы встретить её, а она обычно шла из дома в свой салон, что был недалеко, или же ездила по делам на своей машине, но подруги и знакомые, знавшие об их угасающих отношениях с Р. и встречавшие его в непотребном виде, с хорошо скрываемым удовольствием рассказывали ей об этих встречах.

Теперь уже Р. был без крыши над головой, он давно продал эту крышу и голые стены и теперь ночевал где придется, а часто просто отправлялся в ночлежные дома, которые были в некоторых районах города. Питался он чем Бог пошлет и был вполне доволен своей жизнью, вспоминая прежнюю как цепь тяжелых обязанностей, утомительных правил поведения и огромной ноши ответственности перед обществом (хотя последнее он никогда не мог понять, но, тем не менее, раньше старался соответствовать, изображая из себя законопослушного гражданина). И жил он как птичка божья. Но порой просыпался в Р. прежний человек, и он содрогался, посмотрев на себя со стороны и сравнив себя с нормальными людьми, коих видел ежедневно на улицах города, в нем просыпался цивилизованный человек, которому требовалось умываться и чистить зубы ежедневно, часто принимать ванну и надевать свежее белье. Он порой вспоминал своих женщин, и в первую очередь Лолу, но никак не мог поверить, что она и все другие были именно в его жизни, он будто со стороны вспоминал чужую – неизвестно чью – жизнь, будто во сне, вдруг необъяснимым образом просочившись в чужой сон и завладев чужими приснившимися в чудной форме воспоминаниями.

Лола, поначалу стремившаяся любыми средствами вернуть его, излечить от пагубной страсти к выпивке и игре, стремившаяся и делавшая все даже в ущерб своей работе, своему любимому делу, бизнесу, что она создавала собственными руками, умом и энергией, во что вложила много сил и денег, даже этим любимым делом пренебрегая, она хотела вернуть его, хорошо понимая, как опытная женщина, сколько сил и труда потребует задуманное ею решение, понимая, что ради спасения его жизнь она может пожертвовать собственной, но это её не останавливало, даже несмотря на советы близких людей пожалеть себя и не браться за неосуществимое. Но время лечит, или меняет, или охлаждает наши самые сумасшедшие замыслы, и Лола не была исключением. Теперь она тихо, как смирные старушки в доме престарелых, вспоминала Р. и просто молча радовалась, что в её жизни была такая любовь, тогда как у него, Р., – и она это понимала и чувствовала – была не любовь к ней, а недолго живущая в мужчинах влюбленность и влечение. И постепенно она, словно выздоравливая, втягивалась в свою старую, будничную жизнь, полную хлопот и забот.

Но он был, Р. был, и от этого нельзя было отмахнуться, он был реален, он стоял у неё перед глазами, и порой её мучила совесть, напоминая, что она, может, еще не все сделала, не все испробовала, чтобы не потерять его, чтобы вернуть его и не дать погибнуть.

И вот в жизнь Лолы и Р. вторглась непрошенно, нежданно-негаданно пандемия. Люди помрачнели, будто съежились, утратили свободу, подчиняясь обязательному и общему карантину, и даже когда строгий карантин был на время прекращен, и население могло выходить из своих домов, находилось немало и тех, кто опасался, все еще оставаясь дома, взаперти, не желая общаться ни с кем вне своей семьи, чтобы не заболеть, не принести в свой очаг эту заразу, от которой уже умирали сотни тысяч людей по всему миру; и в ожидании следующей прогнозируемой учеными волны пандемии человеческие существа преобразились, забились в свои норы, постепенно теряя человеческий облик.

Он спешит по пустынным улицам в опустевшем городе вымершего мира, вокруг ни души, город пуст, и он никого не встречает на своем пути. Теперь Р., оглядываясь в страхе, видел призраки, прозрачные подобия людей в черных и белых масках, при-

зраки полицейских, что задерживали и расспрашивали призраки прохожих с печальными глазами, тени обступали Р., неживые тени, и он шел все быстрее, чтобы оторваться от них, не видеть их, и ноги бессознательно вели его по хорошо знакомой улице к хорошо знакомому дому Лолы. Дом её располагался напротив моря, через дорогу от приморского бульвара, где давным-давно (сколько же прошло? десять лет? пятьдесят? или несколько месяцев?) они любили гулять с Лолой, любили смотреть на море, чувствуя, как широта и необъятность моря, словно вливаясь в их души, делает их тоже, их сердца, их души такими же необъятными, как это море, широкими, готовыми вместить в себя всю любовь, что сохранилась пока во Вселенной; они гуляли и без слов, молча, без звука понимали друг друга, и думали, что это прекрасное ощущение никогда не кончится, будет с ними до конца, до самого конца, дорогая моя…

Теперь он торопливо шагал по приморскому бульвару, продолжая видеть призраки, здесь их было меньше, но от этого Р. было не легче, они шли навстречу ему, мрачно, хмуро, подозрительно поглядывали на него, и сами были очень подозрительные, очень… Вот женщина-призрак, толкающая перед собой нарядную коляску с призраком ребенка в ней, она шла по самой кромке последнего яруса бульвара, в двух шагах от воды, плещущейся почти под её ногами. Р. настороженно смотрел на неё, в ожидании чего-то жуткого, сердце его сжалось в недобром предчувствии, а женщина, поравнявшись с ним, словно желая оправдать его предчувствия, внезапно нагнувшись, схватила коляску с ребенком и бросила её в море. Р. с перехваченным дыханием присел от ужаса, а женщина невозмутимо прошла мимо, или … прошла сквозь Р.? Да, прошла сквозь… Он бросился к морю, чтобы кинуться и спасти ребенка, но тут, обернувшись, увидел женщину, продолжавшую толкать перед собой коляску с ребенком, и нога ребенка в вязаном носочке высовывалась из коляски сбоку и болталась, женщина совала ногу обратно в коляску, но ребенок, шаля, вновь высовывал ножку из коляски и болтал ею… Р. с трудом переводил дыхание. Он продолжал идти и очнулся, только когда очутился прямо перед подъездом дома Лолы.

Ему открыла пожилая домработница, предварительно подробно расспросив из-за закрытой двери. Он, как мог, спеша и заикаясь, ответил на её вопросы.

– Хозяйка больна, – сообщила она, впуская его в переднюю. – К ней нельзя.

– А вы кто? – спросил он, подозрительно оглядывая её.

– Я домработница, помогаю Лоле по дому, – объяснила она. – Наденьте маску.

– Я вас не знаю, – сказал Р., продолжая оглядывать женщину. – У Лолы была домработница…

– Я новая, только месяц, как работаю, – перебив его, пояснила женщина.

– Кто там, Зульфия? – послышался из-за закрытой двери в спальню голос хозяйки. – Кого ты впустила? Это с работы?

Голос Лолы, которого он давно не слышал, показался Р. очень странным, и он подумал, что, может быть, это и не она, а один из призраков, что видел он по дороге сюда, когда шел, чтобы укрыться, спрятаться у неё, у Лолы.

Он подбежал к двери в спальню и распахнул её, пока домработница не успела ему помешать. Она лежала в постели, в той постели, которая совсем, казалось, недавно была их общей.

– Боже мой! – ахнула она, увидев его, похожего на бомжа, с горящими, сумасшедшими глазами. – Это ты?.. – и тут же вскрикнула, будто вспомнив. – Не входи сюда, я больна, я заразилась… У меня этот проклятый вирус. Не входи! Ты заразишься. Зуля, убери его. Говори со мной, Р., из-за двери.

– Ты больна? – недоверчиво спросил он. – Чем больна? – спросил он, будто и не слышал её объяснений.

Зульфия, оттащив обессиленного от недоедания и образа существования, что он вел в последнее время, Р., захлопнула дверь в спальню и сказала:

– Говорите так, за дверью, она услышит. Не входите. Я и сама не вхожу, все,

что нужно ей, ставлю у порога спальни. Понятно?

– Лола, – сказал он через дверь дрожащим голосом. – Лола, – и, оглянувшись на стоявшую рядом домработницу, которая не отходила от двери и не сводила с него глаз, будто опасаясь, что он в любую минуту может ворваться в спальню к хозяйке, громко произнес. – Лола, мне надо спрятаться. Они преследуют меня. Куда бы я ни пошел, они находят меня, идут по пятам. Я не знаю, куда деваться. У меня никого нет, кроме тебя. Спрячь меня. Я их боюсь.

– Кто тебя преследует? – услышал он её встревоженный голос из-за двери. – Что ты такое говоришь? Кто тебя может преследовать? Ты кому-то задолжал?

– Нет, нет, я давно не играю, да и кто сядет со мной играть… Думаешь, я не понимаю, кто я теперь? Отлично знаю… – говорил Р.

Домработница не отходила от него ни на шаг и внимательно слушала, и смотрела на него странным взглядом. Он не придавал этому значения и старался объяснить Лоле, что его уже давно угнетало.

– Меня преследуют, – повторил он. – Они… Эти женщины, старухи с колясками, а в колясках мертвые дети, они повсюду, я боюсь, что они могут сказать, что это я убил детей… У одного ножка свешивалась из коляски. Меня поймают, а я ничего не смогу доказать. Мне надо спрятаться…

Из спальни долго не доносилось ни звука.

– Лола, ты слышишь?.. Они меня преследуют, они меня поймают, спаси меня, Лола, дорогая моя!.. – он истерически кричал за плотно закрытой дверью, Лола все слышала, не в силах отвечать, тихо плакала, уже поняв, что происходит, а домработница Зульфия сдерживала Р., крепко вцепившись ему в плечи, чтобы он не ворвался в комнату к хозяйке, и, судя по силе в её руках, она вполне могла бы работать не только домработницей, но и телохранителем.

У Лолы была высокая температура, накануне проверка на тест короновируса дала положительный результат, но, тем не менее, она нашла в себе силы позвонить знакомому психиатру, очень влиятельному человеку в городе и объяснить ему ситуацию. Психиатр, надо отдать ему должное, соответствовал немедленно, буквально через десять минут он постучал в дверь её квартиры и вошел с двумя здоровенными парнями, помощниками, и они без лишних слов, сделав прямо на пороге успокоительный укол в руку Р., взяв его с двух сторон, отвели к ожидавшей машине.

– Лола, как ты? – спросил через дверь психиатр. – Что-то нужно?

– Нет, Заур, спасибо, лечусь дома, приходит врач, ставит системы, все нормально, – ответила она. – Спасибо, что пришел.

– За него не беспокойся, – сказал Заур, чтобы успокоить её. – Я сам им займусь. А пока, наверное, придется ему побыть в больнице. Достаточно только посмотреть на него, чтобы все стало ясно… К сожалению… Буду держать тебя в курсе… Лола, ты слышишь? – подождав немного, Заур вновь окликнул её. – Почему не отвечаешь?

– Плачу… – еле слышно донеслось из-за двери, но Заур услышал, помолчал, зная об отношениях Лолы с Р., о которых знали, пожалуй, все многочисленные знакомые, друзья и приятели Лолы, и после паузы тоже негромко проговорил.

– Не беспокойся… Я сделаю все, что надо. И… может, ты позволишь мне войти на минутку. Не бойся за меня, я в маске и я уже переболел, так что…

– Нет, нет, Заур, не надо рисковать, – услышал он из-за двери её голос. – И потом, я так сейчас ужасно выгляжу…

Зауру в ответ на эти её слова захотелось сказать какой-нибудь легкий ненавязчивый комплимент, но он вовремя вспомнил, что сейчас не время для комплиментов.

Заур, как и многие знакомые мужчины Лолы, был в свое время влюблен в неё, любовь была тактично отвергнута, но симпатия, взаимная симпатия оставалась, и они несколько раз пересекались по жизни, оказывая друг другу услуги и по-друже-

ски поддерживая друг друга.

– Ну, я пошел, – сказал он в дверь и вышел из квартиры.

В психиатрической больнице Р. с первых же дней почувствовал себя вполне комфортно. Поначалу он искал для себя слушателей, чтобы рассказать о своих проблемах, о том, как его преследуют разные женщины с мертвыми младенцами в колясках (даже сюда приходят и стоят под окнами часами, ожидая, что он выйдет). Но среди пациентов мало кто хотел слушать, зато все хотели говорить (в этом смысле сумасшедший дом мало чем отличался от внешнего мира); а врачи были недосягаемы, в особенности для таких рассказчиков, как Р., они просто отмахивались от него, как и от всех других говорливых больных.

Тем не менее, Р. нашел себе подходящую компанию: это были игроки, не бог весть какие искусные, но и за это слава Богу…

Играя, можно было делиться своими страхами и беспокойством, что прямо отсюда врачи передадут его в руки правосудия за то, что он убивал младенцев. Слушали неохотно, часто перебивая, говорили о себе. У компании нашлась и потрепанная колода карт, и был даже свой доморощенный шулер, который так топорно демонстрировал свои дешевенькие фокусы, что и ребенку были видны его «тузы в рукаве». Р., зная почти все о шулерских картах и о различных проделках, с которыми он сталкивался не раз за свою богатую практику игрока, мог легко разоблачить и поймать шулера, он внимательно обсмотрел колоду, она была чистая, а неумелый аферист за столом (служившим и обеденным, откуда их компанию гнали во время раздачи обеда и ужина), больше дурачился, показывая свое «мастерство», чем хотел выиграть. Играли в примитивное «двадцать одно», иначе – «очко», и как Р. ни старался научить их более сложным, популярным и интересным играм, таким, как преферанс или покер, но дальше «дурака» и «очка» дело не шло, братья-картежники не хотели дать себе труда сосредоточиться и понять.

– А у тебя есть деньги? – спросил у Р. один из игроков, худой, плохо побритый, с бегающими, испуганными глазами молодой человек лет тридцати. – Мы всегда играем на деньги…

– Откуда у меня здесь могут быть деньги? – резонно, как ему казалось, ответил Р. – А у вас всех разве есть?

– У меня есть, – ответил второй игрок, с лица которого никогда не сходила добрая, глупая улыбка. – Вот у него тоже, – показал он на третьего участника игры за столом.

– Здесь у многих есть деньги, – подтвердил молодой человек. – Мы же платим медработникам, а как же…

– Разве тебе не дали денег дома, когда отправляли сюда? – спросил улыбавшийся мужчина, не переставая улыбаться.

– У меня нет дома, – сказал Р.

Все молча, с сожалением посмотрели на него.

– Ты мог бы жить у нас, – неожиданно предложил молодой партнер с бегающими глазами, суетливо поглядывая по сторонам, – только надо жениться на моей маме. Тебе сколько лет?

– Если нет денег, тогда будем играть на пуговицы, – предложил улыбчивый пациент.

– Да, да, – подхватили остальные двое. – Мы часто играем на пуговицы.

– Как это? – не понял Р.

– А что тут непонятного?! – вдруг рассердился молчавший до сих пор четвертый игрок и затряс головой, угрожающе приподнявшись со стула. – Скажешь, у тебя и пуговиц нет!? Вон у него сколько! И на рубашке, и на пиджаке!.. На халяву хотел, падла!

– А ну, кыш отсюда! – подошел к ним буфетчик. – Сейчас время ужина. Осво-

бодите места за столом.

– Он не хочет играть на пуговицы! – пожаловался буфетчику нервный мужчина, уже весь трясясь от непонятного негодования. – Обмануть хотел!

– Ладно, ладно, – миролюбиво проговорил буфетчик. – Подайте на него в суд. Поднялись и пошли, если не хотите схлопотать по шее.

Тем не менее, эта компания приняла Р. в свои ряды игроков-любителей, и они почти ежедневно собирались за обеденным столом со своей старой колодой карт, которая принадлежала улыбчивому пациенту. Временами к ним во время игры подходил санитар, то один, то другой, и, желая подшутить над сумасшедшими, грозно предупреждал:

– Опять в больнице затеяли азартные игры! Вот сейчас отниму у вас карты, будете знать!

Эта угроза всех четверых душевнобольных приводила в тихий ужас, они тут же сворачивали игру, прятали карты в карманы, за пазуху, а санитар, в очередной раз припугнув их, весело хохоча, отходил от стола.

Психиатрическую больницу Р. принял, как своего рода убежище, где его могли, наконец, оставить в покое его дикие видения, лишавшие его душевного равновесия, спокойствия, где он никогда не находился один, даже если бы стремился к этому, всегда рядом были люди, люди в халатах, люди без халатов, но когда он вскакивал среди ночи с диким криком от приснившегося кошмара, рядом с ним справа и слева вскакивали и его соседи по палате, с проклятиями отвешивали ему затрещины, чтобы не мешал спать, и это его, как ни странно, успокаивало лучше всякого успокоительного, он чувствовал поддержку и понимание ближних своих. Санитары в это время спали в своем закутке и никого среди ночи успокаивать не собирались.

Р. поставили диагноз: мания преследования. Но, не мудрствуя лукаво, консилиум врачей-психиатров избрал старую, добрую, распространяемую ими на всех пациентов больницы аутоиммунную теорию возникновения и развития шизофрении, когда иммунная система аномально активна. Консилиум в больнице собрался по просьбе Заура, и, начиная с молодых врачей, вчерашних студентов и кончая профессором-главврачом, все высказали единодушное мнение: Р. требуется лечение от неизлечимой болезни.

Это было единственное неудобство в больничной жизни для Р. – лечение. Ему кололи очень болезненные уколы, и это на целый день вышибало Р. из числа игроков, лечение мешало течению спокойной жизни в стенах лечебницы, к которой Р. уже стал привыкать.

– А что ты думал? – сердито выговаривал ему, своеобразно успокаивая, нервный пациент, товарищ по игре. – Это же не курорт. Нас всех лечат. На то и сумасшедший дом.

– Сумасшедший дом, – удивленно повторил Р. – Неужели?..

– А ты и не знал, бедняжка, – все более распаляясь, продолжал собеседник. – Но скоро нас распустят. Будут каникулы, и нас отпустят по домам. И никто уже не заставит нас надевать маски. Вот посмотри, уже трое задохнулись во сне от масок… И вообще… – нервный собеседник, приблизился к Р. на опасное расстояние, и Р. немного отодвинулся, стараясь, чтобы его движение не показалось бы товарищу оскорбительным. – Я должен вам сказать, – перешел нервный пациент на шепот и вместе с шепотом почему-то на «вы», вновь приблизив лицо к уху Р., который уже не стал отодвигаться от него. – Вот этой моей ноге снятся нехорошие сны, даже кошмары снятся. Но пусть не думают, – вдруг повысил он голос до крика, – пусть не думают, что я дам её ампутировать! Ни за что! Я в суд на вас подам!

Р. понял, что пришла пора ретироваться, иначе говоря – делать ноги, пока и ему не решили их ампутировать, и осторожно покинул крикливого пациента. И так как Р. больше ни с кем из больных старался не общаться, он вынужден был время от вре-

мени выслушивать подобные признания от близкого круга знакомых душевнобольных.

Через месяц выздоровевшей Лоле было разрешено покидать квартиру, и она вспомнила о несчастном Р., хотя ни на минуту не забывала о нем. За время их обоюдного общения, за долгие месяцы, которые ей порой казались пролетевшими, как одна минута, а иногда – длившимися бесконечно долго, когда счастливые минуты любви её к Р. плавно переходили в часы нежных объятий и поцелуев – время шалило, меняло свою суть, иногда вообще исчезало, проваливаясь глубоко в счастье – потом в дни, когда они не могли расстаться друг с другом даже ненадолго – бывало и так – и, как молодые влюбленные, ходили по улицам, по паркам, по бульвару, держась за руки, и она отчетливо ощущала, как её охватывало желание, все сильнее, все больше, истомой разливалось по всему телу, словно рука его излучала токи, пробуждающие любовь, бурлящие соки любви, и иногда в такие минуты, если они оказывались где-нибудь наедине, они, посмотрев в глаза друг другу, останавливались и начинали страстно целоваться, не в силах отлипнуть друг от друга, и однажды, когда такое произошло, она сказала полушутя: ты смотри, как молодые, и он тут же ответил, будто ждал этой её фразы: а мы и есть молодые, а она тогда сказала, будто ждала его реплики: потому что любят наши души, а уже потом тела, правда? Тогда он не ответил, но и возражать не стал… И такие дни складывались в недели… недели счастья, недели и месяцы безмерного счастья, когда их тела были опустошены от этого счастья и любви, а души не находили слов и утомленно молчали, понимая, что любые слова теперь излишни, они слились и, казалось, навсегда, в одно целое. С ней такое происходило впервые, несмотря на уже (как бы сказать, чтобы не обиделась?) далеко не юный возраст, и потому запомнилось, и потому эту любовь она хотела сохранить надолго, навсегда, и жить долго и счастливо с ним, как в сказке, но… То, что случилось с ним, было настоящей бедой, и она не в силах была противостоять этой беде, бороться с этим несчастьем. Но твердо решила, что не оставит его, будет заботиться о нем, сделает все, что в её силах…

Лола позвонила Зауру, и они договорились о времени, когда можно будет пойти навестить Р.

Р. встретил её удивительно спокойно, сдержанно, будто вчера расстались, не высказал никаких эмоций, заметно стесняясь, оглянулся на больных, прилипших к окнам в коридоре второго этажа, выходящим на этот маленький дворик больницы, где происходило свидание Лолы с Р., и внимательно наблюдавших за ними. Во дворике была маленькая скамейка.

– Давай сядем, – предложила Лола.

Они уселись на скамейку, которая находилась под навесом во дворе, и сумасшедшие остались крайне недовольны, потому что теперь, под навесом, на скамейке, их не было видно из окон коридора мужского отделения. Душевнобольные, ворча, разошлись.

Лола взяла Р. за руку, он чуть отдернул, не закончив жест, но руку не стал отнимать; тем не менее, поняв, что ему так некомфортно, она убрала руку и сказала:

– Как ты здесь?

– Хорошо! – ответил он, суетясь, нервно, торопливо, почти не дав ей возможности закончить фразу.

Они помолчали.

– Ты немного поправился, пополнел, – сказала она. – Я не видела тебя таким, – она попыталась улыбнуться.

– Ты напрасно ходишь в этой маске, дорогая моя, – сказал он. – У нас от масок трое уже задохнулись. Умерли. Похороны в среду. Но я не пойду. Мне делают уколы, но это не помогает, потому что мне не уколы их нужны, а нужно просто прогнать этих женщин, которые приходят с колясками, с мертвыми детьми в колясках, прихо-

дят и стоят под окнами, и с улицы, и здесь, даже во дворе… Куда только охрана смотрит! – он говорил лихорадочно-торопливо, проглатывая окончания слов, будто боясь, что она перебьет его, и он не успеет высказаться до конца, и вдруг замолчал, помолчал немного – она ждала, не вторгалась в паузу – и потом спросил:

– А где я буду жить, когда меня выпустят отсюда? Ты что, плачешь? Болит что-то?

– Я позабочусь… – сказала она, не в силах договорить до конца.

– Нам сегодня разрешили телевизор, – сказал он, поёрзав на скамейке. – Ты немного не вовремя пришла, дорогая моя. Не было никаких неприятностей со стороны больных, все вели себя хорошо, и нам разрешили телевизор, дорогая моя, его, наверное, уже включили, – беспокойно проговорил он, поднимаясь со скамейки.

– Возьми, – она протянула ему приготовленные деньги. – Здесь понадобятся. Я пришла бы и раньше, но после выздоровления была на карантине, мне только сегодня разрешили выходить. У нас теперь СМС-разрешения…

Увидев деньги, он, будто что-то вспомнив из той, прежней жизни, поинтересовался:

– А как твои дела? – и это прозвучало так обыденно-нормально, что она не удержалась и внимательно посмотрела ему в глаза, и, не заметив в них никакого сумасшедшего блеска, никакой лихорадочной суетливости во взгляде, присущих душевнобольным, поняла, что это временное просветление и с ним сейчас можно говорить, как с нормальным, разумным человеком.

– Да как сказать, – начала она, все же беспокойно поглядывая на него. – Работы, можно сказать, нет, все ведь закрыто, салоны, рестораны… Девочки работают сами по себе, ходят по домам к своим старым клиенткам, а салон не получает никакой прибыли, а ведь еще за аренду платить надо… Ой, что-то я заболталась. Ты не подумай чего… возьми деньги, пригодятся тут…

Он равнодушно поглядел на деньги и вдруг, как бы вспомнив, сказал:

– Нет, мы здесь играем на пуговицы. У тебя не найдется штук десять, штук двадцать пуговиц?.. А то я уже четыре проиграл…

Она сунула деньги в карман его больничного халата, поднялась и торопливо покинула двор больницы.

Лола оставила машину возле больницы, Заур, проводив её сюда и познакомив с главврачом, который, в порядке исключения, разрешил свидание с больным во дворе клиники, ушел по своим делам. Лола, выйдя на улицу, плохо видела от слез, все расплывалось перед глазами, и она не решилась сесть за руль. Она села в первое попавшееся, дежурившее возле ворот больницы такси и поехала домой. В машине она, не в силах сдержаться, громко зарыдала. Таксист, посмотрев на нее через зеркало в салоне, понимающе покивал.

– У меня племянник здесь лечился, – сказал он. – Совсем молодой парень. Теперь, вроде, получше ему…

Лола, не слушая его, продолжала плакать.

Многие отговаривали Лолу, начиная от близких подруг в салоне, уже долгие годы знавших её, и кончая домработницей Зульфиёй, советовали отказаться от своего решения забрать к себе и заботиться о неизлечимом больном, но она оставалась непреклонной.

– А что, если он опять начнет пить? – резонно спрашивала Зульфия. – Там закрытая больница, и у него не было возможности, а тут, на воле… Думаете, мы сможем помешать? Видала я алкоголиков… зарезать могут за стакан водки…

– В таких случаях ничего нельзя планировать заранее, – удрученно отвечала Лола, и глядя на её растерянный вид, нерешительные взгляды, что бросала она на собеседника, можно было подумать, что вот, стоит еще немного нажать на неё, доказывать еще убедительнее, и она сдастся, поймет, насколько глупо и пагубно её не-

обдуманное решение. – Время покажет…

Но она решила про себя твердо, бесповоротно, и чувствовала, заранее ощущала тяжесть той огромной ответственности, что брала на себя, но и сбрасывать эту ответственность, трусить перед ней не собиралась: это была её последняя любовь, и ей казалось, что сейчас отвернуться от него было бы предательством.

– Он может превратить твою жизнь в настоящий ад, – говорил ей Заур. – Ты не знаешь таких сума… больных, они неуправляемы.

– Моя жизнь уже превратилась в ад, когда он заболел, – говорила Лола. – Что может быть глубже этой беды?

– Ты, Лолочка, сними ему комнатку и приставь человека, пусть ухаживает за ним, у себя не держи, – советовала близкая подруга Лолы, менеджер в её салоне, которую она знала с юных лет. – Бог знает, на что такие больные способны. Он не буйный?

С Р. происходили странные вещи: порой, когда наступало просветление, и он вполне мог нормально думать и разговаривать, он с ужасом оглядывался кругом, не понимая, как он сюда попал, за что его здесь держат и почему не выпускают, почему он не может идти, куда хочет, ведь он не такой, как все тут его окружающие. Он со страхом смотрел на своих товарищей по несчастью, боясь, что поняв, что он отличается от них, что он вполне нормальный человек, не такой, как все здесь, они вдруг набросятся на него или зарежут ночью во сне. Но просветления среди болезни наступали все реже и длились все меньше, как полоски света, мелькавшие между вагонами набиравшего скорость поезда, и он вновь возвращался к своему обычному состоянию, говорил глупости, боялся, что в его порцию супа, который готовят в столовой, повариха влила сильный яд, что старуху с мертвым младенцем в коляске ночью нарочно пропустят в палату, где он спит, и старая ведьма уложит недышащее тельце рядом с ним в его постель…

И вот пришел день, когда врачи в больнице посчитали, что дальше держать Р. здесь, в больнице, не имеет смысла, он чувствовал себя немного лучше, и не было необходимости ему занимать чужое место в лечебнице.

Лола привезла его к себе.

В первый день, когда, приехав из больницы, он вошел в её квартиру, казалось, он даже немного растерялся, он с жалким видом оглядывал богато обставленную просторную квартиру и было видно, что он давно отвык жить в человеческих условиях: Р. весь словно съежился, стал даже меньше ростом, боялся сделать лишнее движение, чтобы что-нибудь не задеть ненароком, не сбить, не поломать. Лола смотрела на него, и пронзительная жалость охватывала её сердце, она вспоминала его лучшие дни, когда они только стали встречаться, и когда он вел себя так, будто был хозяином жизни, и все ему было по плечу, когда он мог осчастливить любую женщину, когда всем нравился и своим неповторимым шармом, и манерой говорить, умением производить эффектное впечатление, и это все надолго запоминалось людям, особенно женщинам, с которыми он общался. Теперь же, в своей старой убогой одежде, он производил впечатление бедного родственника, который пришел просить в долг небольшую сумму на пропитание.

Лола провела его в одну из комнат, которую заранее вместе с Зульфией приготовила для него.

– Здесь ты будешь жить, – сказала она Р. – Тебе нравится? Если что-то нужно поставить в комнату дополнительно, скажи… Эти цветы тебе нравятся?

– Мне неловко, что я доставляю тебе много хлопот, – сказал он. – И те деньги, что ты дала мне, они у меня, я их не потратил. Вот, – сказал он и, вытащив из кармана, показал ей деньги. – Может, мне просто снять где-нибудь комнатку подешевле, как ты думаешь? Я не хочу обременять…

Она не дала ему договорить.

– Глупости, – отрезала Лола. – Живи, сколько хочешь… И потом, как ты можешь обременять меня?! Мы были мужем и женой, ты не забыл? Мы и сейчас муж и жена. И я должна заботиться о тебе…

– Не говори так! – вдруг рассердился он. – Я сам могу о себе позаботиться!

– Конечно, милый, – согласилась она. – Я просто хочу всегда быть рядом. Если не возражаешь… А?..

– Не возражаю, – ответил он хмуро.

– Вот и хорошо, – сказала она. – Вот здесь у тебя телевизор, есть интернет, это хороший компьютер, я недавно купила… А в гостиной есть пианино, и, если хочешь, можно перенести его сюда…

– Нет, не хочу, – он помотал головой, посмотрел в окно долгим, задумчивым взглядом, будто её слова о пианино напомнили ему лучшие дни, когда его жизнь была наполнена настоящим, радующим сердце творчеством, улыбнулся, вспоминая, с улыбкой посмотрел на неё: – Спасибо, дорогая моя…

Услышав эти слова, Лола невольно прослезилась, но, не желая показать вида, сказала:

– Мне надо идти по делам, сейчас всего на три часа разрешают покидать квартиру, а ты располагайся, отдыхай. Если что нужно, скажи Зульфие, она сделает…

И Лола ушла. Р. подошел к окну, посмотрел на улицу почти без прохожих, увидел выходившую из подъезда Лолу, потом, не раздеваясь, прилег на диван.

Дверь распахнулась без стука, и заглянула в комнату Зульфия. Р. тут же, как по команде, вскочил с дивана, будто совершил нечто предосудительное, валяясь без разрешения на диване: сказывался привычный страх перед персоналом, оставшийся в нем с больницы. Этот жест не скрылся от внимания служанки, и она понимающе тонко усмехнулась.

– Что вам на ужин приготовить?

И тон, с которым она обратилась к Р., был не грубым, конечно, но гораздо более раскованным, чем когда она разговаривала с Лолой. Р. не стал вдаваться в такие тонкости, но не знал, что ответить и пожал плечами.

– Ну? – сказала Зульфия в ожидании его ответа.

– Я не знаю, – сказал Р. – Все, что хотите…

– Из готового есть долма и вчерашний борщ, – доложила она.

– Хорошо, – покладисто ответил Р., и Зульфия, прикрыв за собой дверь, отправилась на кухню.

Р. включил компьютер, вспомнив свои лучшие дни, вошел в интернет и постепенно увлекся, вспоминая прежнюю, нормальную жизнь, когда он ни дня не мог провести без информаций из Интернета.

Закончив дела, Лола торопливо вернулась домой, будто оставила дома непослушного ребенка, который любил играть со спичками. Р. встретил её добродушной, спокойной улыбкой (она все еще с опаской вглядывалась в выражение его лица, его глаз, ища следы совсем недавней сумасшедшинки, и, не находя, каждый раз облегченно вздыхала про себя, чувствуя, как покидает её утомительное напряженное состояние), неловко, отвыкнув, поцеловал в щеку, когда она приблизилась к нему.

– Ты ужинал? – немного запыхавшись оттого, что, не дождавшись лифта, торопливо поднималась пешком по лестнице, спросила она. – Зуля покормила тебя?

– Я хотел дождаться тебя, – сказал он, и это напомнило ей былые счастливые дни и переполнило радостью.

– Мы будем ужинать в гостиной, – сказала она. – Да?

– Может, в кухне? – нерешительно предложил он. – Там так уютно…

– Хорошо, дорогой, – сказала она. – У меня есть отличное шампанское, может, отметим твое возвращение, – предложила она неосторожно, и тут же осеклась, с опа-

ской бросив на него взгляд: как он среагирует.

– Я не пью, – сказал он очень просто, как она могла бы сказать: я не ем хлеба, чтобы не пополнеть.

– Ну и отлично, – сказала она. – Я тоже.

Они пошли в кухню, где Зульфия уже расставила приборы, и сели за стол.

– Спасибо, Зуля, – сказала Лола.

– Спасибо, Зульфия, – как эхо повторил он вслед за ней.

– Ты можешь идти, – сказала Лола. – До завтрашнего утра. Придешь к одиннадцати.

Её предложение не обрадовало домработницу, как ожидала Лола. Она немного помялась, потом, нагнувшись к самому уху хозяйки, очень тихо спросила:

– Точно? Мне уходить? – и незаметно бросила опасливый взгляд в сторону Р., невозмутимо крошащего хлеб в тарелку с супом.

– Да, да, – покивала Лола, понимая, что Зульфия беспокоится за неё.

И домработница покинула их.

– Ты помнишь, – проговорил за ужином Р., – я как-то предсказывал эту болезнь, пандемию?

– Да, – сказала она. – Слава Богу, кажется, у нас в стране пошло на спад…

– Так вот, со мной это повторилось. Это редко бывает. Но было мне еще одно откровение, или видение, не знаю, как точно сказать…

Его слова насторожили Лолу, но она постаралась не показывать вида.

– И что это за новое предсказание, господин ясновидящий? – постаралась пошутить она. – Ты бы лучше погоду предсказывал, а то я вышла сегодня без зонтика, и вдруг полил такой ливень, а я без машины…

– А почему без машины? – спросил он, и она немного отошла, напряжение вновь покинуло её, ей понравилась будничность вопроса.

– В ремонте. Ну и как? Скажешь, что новое привиделось?

– Не сейчас, дорогая моя, – несколько таинственно проговорил он.

– Тебе нравится? – спросила она после паузы.

– Что? – не понял он.

– То, что ты ешь.

– Да, очень вкусно… – благодарно покивал он. – Я отвык от вкусной еды.

– Привыкнешь. Зульфия прекрасно готовит, намного лучше меня.

Потом они продолжали молча есть.

– Я часто думаю… – сказал он.

– Да, дорогой. О чем?

– Нет, просто я хотел сказать, что я часто думаю, – сказал он, улыбнувшись.

– Хорошо. Ты не утратил чувства юмора, – сказала она, поздно сообразив, что эта фраза могла не понравиться ему.

Ночью он лежал в постели и думал о том, как невыносимо тяжело жить, постоянно ожидая, что опять это случится с ним, опять навязчивые идеи, кошмары будут преследовать его, опять он будет метаться, валиться без сил на пол, биться головой, как случалось в сумасшедшем доме, и опять его будут связывать, колоть уколы, от которых ему не становится лучше, и потом, когда наступит, наконец, просветление, когда ум его вернется к нормальной жизни, ему будет мучительно стыдно смотреть в глаза окружающим, видевшим его ненормальное поведение, смешное для невольных свидетелей и невыносимо жуткое, убийственное для него. И как можно дальше жить, если он обречен терпеть эти перепады из состояния невменяемости в спокойное человеческое состояние, когда притихший, как школьник после наказания, он не смеет смотреть в глаза людям, в глаза Лоле? И разве это можно будет называть жизнью, это его жалкое, бесправное существование, когда с минуты на минуту, каждый час, каждый день со страхом ждешь, что вот опять приступ, опять на-

катит необъяснимое состояние невменяемости, сумасшествия, идиотизма…

Так он думал, лежа один в постели, и мысли эти отгоняли прочь сон, и он терзался от пронзительного сознания никчемности своей жизни, на которую обрушилась страшная, неизлечимая болезнь; так он думал, размышлял о своей ненужности на этой земле, в этой жизни, когда в его комнату вошла Лола.

Р. почти забыл, что он в гостях у Лолы, и неожиданный её приход заставил его послушно вскочить с постели. У неё сжалось сердце от жалости, она была потрясена, он вел себя так, словно был прислугой, которую хозяйка дома застала за предосудительным занятием, и боялся, что его накажут; Лола тихо подошла к нему, протянув руку, погладила по щеке, прижалась к нему, уложила вновь в постель и легла рядом. Некоторое время они оба молчали, она обняла его.

– Я давно не был с женщиной, ты же понимаешь, – сказал он, весь дрожа и тяжело переводя дыхание.

– Да, – сказала она, – понимаю, – и прижалась к нему всем телом. – Ты быстро все вспомнишь…

Потом они лежали в постели утомленные, почти засыпая, и она спросила с нескрываемым любопытством:

– Все же скажи мне, что на этот раз ты увидел в будущем? Мне интересно. Это опять касается всего человечества или только нас с тобой?

– Только меня, – сказал Р. и, не желая развивать дальше эту тему, прибавил. – Я засыпаю.

И в самом деле через минуту уснул. Она, прислушавшись к его дыханию, вспомнила их прежние ночи: он тихо, еле слышно посапывал во сне, как младенец.

Несколько дней Лола с затаенной тревогой присматривалась к поведению, к разговорам Р. – не появятся ли странности, признаки болезни. Порой у него были приступы легкой депрессии, когда он старался уединиться в комнате, чтобы его не беспокоили, сидел, уткнувшись в одну точку, или смотрел в окно, непонятно на что на улице и болезненно, нервно реагировал, когда кто-нибудь открывал дверь, вторгался в его одиночество, нарушая его затворничество; запереться он не мог, это было бы вызывающим жестом в чужом доме, но его нервировало, когда бесцеремонно входили без стука в комнату, а то, что он считал себя в чужом доме, зная, что такое признание обидит Лолу, не покидало его все время, пока он жил у неё. Лола, заметив невольную мимолетную гримасу недовольства на его лице в такие минуты, перестала беспокоить Р., наказав домработнице не входить к нему ни под каким видом, если что нужно, он сам даст знать. Но длились такие приступы недолго, проходило несколько часов, и Р. вновь возвращался к своему нормальному состоянию, нельзя сказать, что слишком уж общительному и разговорчивому (он был совершенно немногословен, говорил только по необходимости), но было заметно, что временная одичалость и приступ депрессии прошли, и он возвращается к привычному быту. И вот когда он вновь возвращался к обычной жизни, она, выждав, когда у Р. было нормальное – чтобы не сказать, хорошее – настроение, приставала к нему шутливо, чтобы он рассказал ей о своем видении, о том, что произойдет с ними, с ним. Ей, после того, как она стала свидетелем, как оправдалось его предсказание насчет пандемии, было в самом деле очень интересно узнать, что же посетило его на этот раз, какие видения.

– Я тебе скажу, если пообещаешь не пичкать больше меня этими лекарствами, – сказал Р., – от них мне не лучше и не хуже, но зачем принимать, если не становится лучше? – резонно заметил он.

Лола, свято веря в силу и помощь психотропных средств, которые прописали по выходе из больницы Р., строго-настрого наказав следовать предписанию врача, в первые дни настаивала, чтобы он принимал лекарства, даже видя его недовольное лицо при таких разговорах; она в подобных делах была аккуратна и верила врачам, и сама, заразившись и проболев две недели короновирусом, аккуратно принимала

все прописанные лекарства, убедив себя, что именно эти лекарства послужили для её выздоровления. Но Р. трудно было убедить в том, в чем была убеждена она. Он не верил в лекарства от душевной болезни и, как говорится, в трезвом уме ни на минуту не переставал считать себя именно душевнобольным, как бы ни горько было это сознавать; и во все время, что жил теперь у Лолы, активно искал и читал в интернете все сведения о своей болезни, и почерпнул немало информации о психических болезнях и отклонениях в поведении больных, и пришел к заключению, что надо смириться с наказанием божьим, и никакие лекарства от этого наказания не спасут. Но в то же время и смиряться он не собирался, и в воспаленном мозгу Р. возникали новые планы на дальнейшую жизнь, на дальнейшее существование. То, что он долго не сможет и не будет жить у Лолы, он давно уяснил для себя, но никогда об этом не заговаривал с ней, не желая её огорчать.

– Хорошо, – явно неохотно пообещала Лола. – Обещаю, хотя считаю это неправильным. А теперь признавайся, что нас ждет… – и она улыбнулась ясной, лучезарной улыбкой, которая так нравилась ему раньше, но теперь оставила равнодушным, улыбнулась, давая понять, что не совсем верит его предсказаниям, несмотря на то, что стала свидетелем, когда он предсказал обрушившуюся на мир пандемию неизвестного вируса.

– Ну, ладно, – сказал он с таким видом, словно собирался рассказывать долгую историю. – Это касается только меня…

– Как жаль, – перебила она его.

– Жаль чего? – спросил он, недовольный, что его перебили.

– Что меня там нет, – сказала она, отводя от него взгляд.

– Когда ты узнаешь, в чем дело, поймешь, что тебя там и не может быть. Мне продолжать, или ты будешь еще перебивать, – раздраженно проговорил он.

Она молча помотала головой.

– Я тогда понял… – не совсем понятно начал он, но она остереглась перебить его на этот раз, – понял, что должен уехать… далеко… Мне надо уехать в Бразилию… Там Пауло да Роса… Знаменитый бразильский игрок. Я списался с ним по интернету, после того, как мне было видение… Я видел его так живо. Он приглашает меня. Я должен сыграть с ним. Он чемпион. Но я знаю, я уверен, что выиграю. Что ты так смотришь? Ты не думай, мне деньги не нужны, он сам меня приглашает, все будет оплачено, я только жду его вызова.

Она, не отвечая, вновь невольно покачала головой. Долго смотрела на него. У него был напряженный взгляд, будто он что-то очень важное обдумывает. Потом она сказала:

– Мне надо сделать несколько важных звонков, если хочешь есть, не жди меня, Зульфия тебя покормит… Я буду у себя, – и Лола вышла из комнаты, прикрыв за собой дверь. Он даже не обернулся.

Она не отказывалась от борьбы за него, виделась с известными врачами-психотерапевтами, очень в этом помог ей Заур, у которого был обширный круг знакомых врачей, что охотно отзывались на его приглашения и старались помочь, но говорить со всеми ими приходилось только Лоле, а это было неприемлемо: врачи, вполне естественно, хотели видеть пациента, говорить с ним. Р. же не подпускал близко к себе никого, и всякий разговор с Лолой, который превращался в увещевания и уговоры, вызывал у него вспышки ярости и гнева, по-настоящему пугавшие её.

Проходили дни и недели. Р., одержимый своей новой идеей, часто говорил сам с собой, довольно громко обсуждая предстоящую поездку и турнир карточной игры в Сан-Паулу, где живет бразильский чемпион. Ему становилось заметно хуже, но вел он себя спокойно, и Лола жила в постоянном напряжении, не зная, что предпринять: отправить обратно в лечебницу, или снять ему комнатку и нанять прислугу, которая присматривала бы за ним. На ночь, после ухода Зульфии, она стала запираться в

своей комнате.

Однажды Лола вернулась домой необычно возбужденная, веселая, ворвалась к нему в комнату и с порога радостно крикнула:

– Мы победили! Победа, Р.! Наша армия освободила Карабах! Конец войне!

Р. непонимающе уставился на неё.

– Победили?

– Ты что, не включаешь телевизор? Ты хоть в окно посмотри, что творится на улицах! Мы освободили Карабах! Ты же сам предсказывал! Вот, твое предсказание сбылось! Карабах освобожден от захватчиков! – её охватила острая досада, хотя она не надеялась на его нормальную реакцию по поводу этой радостной вести, которая всколыхнула её, как и весь народ – победа, долгожданная победа! – и этой радостной вестью она, естественно, хотела в первую очередь поделиться с самым близким человеком. Но не получилось. Этот самый близкий человек жил в своем собственном мире, в ненормальном мире, и его нельзя было упрекнуть, болезнь мешала ему оглянуться и увидеть другой, реальный мир вокруг него.

Лола с досадой прикрыла его дверь, не мешая ему уходить в дебри сумасшествия, хорошо понимая, что и не в силах была бы помешать.

Р. замечал напряженные взгляды Лолы, которые она мимолетом бросала на него и старалась смягчить, видя его открытый, насмешливый, вполне нормальный встречный взгляд, слышал намеренно громкое ворчание домашней прислуги в кухне, когда хозяйки не было дома и Зульфия могла вдоволь жаловаться самой себе: «Когда этого психа заберут обратно, когда он к чертям собачьим покинет нас, хозяйка совсем извелась, бедная, из-за этого ненормального к нам перестали гости приходить, а какой был раньше дом – смех, радость, полно людей, несмотря даже на карантин – и Лоле грусть-тоску сбивали, она забывала о нем и была весела, любо-дорого смотреть… а теперь…»

Р. слышал все её слова, потому что её негодование и было рассчитано на то, чтобы быть услышанным, но оставался абсолютно спокоен, так как уже пришел к твердому решению. И это решение он лелеял, рассматривал и обдумывал его со всех сторон и все больше и больше убеждался, что верно принял его. В Бразилию, в Бразилию!.. Там ждет его Пауло да Роса, знаменитый игрок, который никогда не проигрывал… а посмотрим, как с ним, с Р., он справится… Он уже недели две вел невидимую, тайную переписку со своим далеким соперником, и от длительной тренировки колода карт, которую он припрятал втайне от Лолы, превратилась в тряпичную, негодную теперь для игры, но, тем не менее, он по ночам долгие часы подряд вел игру в уме, утомлялся, немного передохнув, продолжал и, обессиленный, засыпал и во сне видел карты и своего коварно ухмылявшегося противника, уверенного, что победа будет за ним.

Лола все еще пыталась наладить с ним хотя бы прежний слабый контакт, но видела, как он безнадежно с каждым днем все больше отдалялся от неё, запирался в комнате и, тихонько приложив ухо к двери, можно было услышать его негромкое, лихорадочное, невнятное бормотание, будто он спорил с кем-то…

В короткие промежутки, когда ум Р. прояснялся, он с ужасом обнаруживал себя на темном, непроницаемом дне беспробудного безумия, понимал, ясно осознавал, что болен, что безумен, что подобных минутных прояснений, ничего не приносящих, кроме жуткого ужаса, пронзительного осознания неизлечимости своей болезни, не ожидается в дальнейшем, что он – обуза, проклятие для каждого, кто захочет заботиться о нем, захочет посвятить свою жизнь ему, и Р. все больше убеждался – вот вновь наплыла, накрыла его со скорбной его головой волна – что принял правильное решение: уехать, убраться отсюда, никому не мешать… Ему никто не нужен, так же, как и он не нужен никому…

И однажды среди ночи, когда Лола тревожно спала в своей комнате, а домработница Зульфия, в последние недели остававшаяся в доме хозяйки на всякий непредвиденный случай, спала на раскладушке в кухне крепким здоровым сном домработницы, Р. потихоньку встал с постели, на которой не мог заснуть уже несколько ночей, обдумывая нечто, обсматривая нечто, не поддающееся описанию нечто, оделся…

Он оглядел свои старые лохмотья, изношенные ботинки, протертые почти до дыр брюки, засаленный пиджак, старье, что не позволил Лоле выбрасывать, и решил не надевать их. А надеть новый костюм, что Лола купила ему в первый же день, когда он переехал к ней, дорогой костюм с ремнем Бали, который привезли из дорогого магазина вместе с шелковой рубашкой с запонками Дюпон (эти полузабытые атрибуты смутно, весьма туманно напомнили на мгновение Р. былые времена, когда он любил модно одеваться и мог сам себе покупать дорогую одежду), он только однажды надевал костюм, чтобы порадовать Лолу, которая просто расцвела и даже прослезилась, дурочка, когда увидела его тщательно побритым, пахнувшим дорогим одеколоном и разодетым, как принц (правда, довольно пожилой и потрепанный жизнью принц); но это было только раз, когда, поддавшись увлечению и желая сделать ей приятное, он оделся как на демонстрации мод, даже Зульфия тогда, увидев его таким преображенным, восхищенно поцокала языком; во все остальное время он ходил по квартире в халате и не имел никакого желания, часто впадая в депрессию, показать нос на улицу.

Теперь он тщательно оделся (ей будет приятно, – подумал он машинально), попрыскал себя одеколоном, но бриться не стал, многодневная борода, по мнению Лолы, очень шла ему, и сейчас выглядел в новом костюме как успешный бизнесмен средней руки – пусть там, в Бразилии, знают наших!

Он поначалу хотел оставить Лоле письмо, чтобы не волновалась, все-таки она любила его, и он тоже, как умел, отвечал взаимностью (теплая волна при этой мысли прихлынула к сердцу), но получилась только короткая записка на экране монитора, больше у него не нашлось слов.

«Я уезжаю в Бразилию, в Сан-Паулу, на чемпионат по картам. Не беспокойся за меня. Приеду чемпионом. Ты будешь гордиться мной, дорогая моя…».

И Р. тихонько, на цыпочках (как вор, укравший костюм, – подумалось ему), вышел из квартиры, плотно, бесшумно прикрыв за собой входную дверь.

Шел проливной дождь, и сильный ветер валил с ног, и он пожалел, что надел такой дорогой костюм, теперь он испортится, но усмехнулся этой нелепой мысли и торопливо, насколько мог, против ветра зашагал по улице. Было еще темно, ночь продолжалась…

Труп Р. обнаружили через сутки в море, свирепый северный ветер хазри, бушующий вот уже два дня, поднял огромные волны на Каспии, труп отнесло далеко от берега, от приморского парка, бульвара, на котором они с Лолой так любили гулять, предвкушая предстоящую ночь любви, ночь счастья и бесконечно долгую жизнь, дорогая моя…

ЛЕЙЛА АЛИЕВА

Бакинский славянский университет

ТУРЦИЯ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ И МЕМУАРНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ РУССКОЙ ЭМИГРАЦИИ ПЕРВОЙ ВОЛНЫ

XX век вывел на арену русско-турецких литературных связей ряд новых тем о коротком, но очень важном отрезке времени. В начале 20-х годов конец Гражданской войны и поражение Белой армии выбросили на «берег турецкий» тысячи русских беженцев – гражданское население и остатки врангелевской армии, которые разместились в Галлиполи – полуострове Турции, расположенном вдоль Дарданелльского пролива. Турция оказала большую помощь русским изгнанникам.

Само слово Галлиполи вошло в русский литературный язык, получив в эмиграции новый, символический смысл: соединение мученичества и героизма, патриотизма и верности идеалам.

По свидетельству современников, Константинополь (название, навсегда укрепленное в сознании русской эмиграции и её литературе) мог показаться «новым Вавилоном»: население города за несколько недель увеличилось на 100 тысяч человек.

Новый быт и условия жизни, столкнувшие огромные массы разноязычного населения, нашли отражение в источниках разных жанров, написанных непосредственно в это время и много позднее. В статье этот материал представлен в некоторых извлечениях.

Пребывание эмигрировавших офицеров русской армии в Галлиполи документировано представлено в книге Мирослава Йовановича «Русская эмиграция на Балканах. 1920-1940» (М.,2005), в материалах по истории Белого движения, в сборнике статей под названием «Исследования по истории русской мысли» (М.,1998), в работах по истории Гражданской войны в России и многих других источниках.

Галлиполи в переводе с греческого – «Город красоты». Непонятно, почему так назвали выжженную солнцем пустыню, где короткие перебежки ящериц были единственным живым движением природы. Русские солдаты называли эту местность Голо-Поле, и это название ей подходило куда как больше.

Сам факт существования русской армии за рубежом, национальный организм с его чувством правоты и важности для будущего спасения России стал темой многих размышлений, отраженных в мемуарной и художественной литературе эмиграции первой волны.

«Галлиполийское сидение» – так названа глава в книге Д.И.Мейснера «Миражи и действительность» (М.,1966).

«Большинству или, скажем, очень многим была тогда ясна унылая бессмысленность военных упражнений, парадов, походных тренировок, изучения уставов…<…> Только потом, когда военная эмиграция рассеялась, осев в разных странах, идея продолжающейся белой борьбы опять стала живучей среди большей части бывших белых воинов»[1].

Разбитая белая гвардия попала в страну, где также кипели горячие политиче-

[1] Мейснер Д. Миражи и действительность. Записки эмигранта. М.,1966,с.108.

ские страсти. Здесь происходила своя революция.

Генерал Мустафа Кемаль Ататюрк был популярен среди белого офицерства. *«Турецкий генерал импонировал российским беглецам своим непреклонным характером, чего так не хватало, по общему мнению, Деникину и его окружению... Тогда многие среди нас говорили о том, что готовы примкнуть к борьбе, происходящей в Турции, на стороне Кемаля. В коротком военном столкновении турок и греков большинство из нас было на стороне скорее турок, чем единоверцев греков»*[1].

Жизнь российских эмигрантов в Турции и её главном городе Константинополе стала предметом описаний, сюжетов, вкраплений в ряд текстов, созданных русскими писателями, политиками, журналистами и тогда, и позднее, в мемуарной литературе.

«У Стамбула есть одна интересная особенность – он цепляет. Никто не покидает этот город равнодушным: вы либо влюбляетесь в него – в его узкие улочки, запахи и звуки, либо он вас чем-то раздражает – обычно суетой, шумом, обилием уличных торговцев, старающихся изо всех сил продать вам свой товар. Он не просто цепляет и вызывает противоречивые эмоции, но и заставляет вас чувствовать, эмоционально воспринимать окружающую действительность»[2].

Разумеется, жизнь в этом перенаселенном городе складывалась у русских эмигрантов по-разному; у каждого свое видение страны, языка, народа, его религии, национальных традиций.

Книга Любови Евгеньевны Белозерской-Булгаковой «У чужого порога», включенная в ее «Воспоминания» (М.,1989), открывается главой «Константинополь». В первые годы революции и Гражданской войны судьба забросила Л.Белозерскую в Константинополь, где она жила до своего отъезда в Париж со своим первым мужем, известным русским литератором Ильей Марковичем Василевским, широко известным всей читающей России под псевдонимом Не-Буква. По возвращении в Москву она стала женой М.А.Булгакова. Именно ей были посвящены роман «Белая гвардия» и пьеса «Бег», во многих своих эпизодах воспроизводившая воспоминания Л.Белозерской.

Пьеса дана в снах. Пятый сон переносит действующие лица в Константинополь. Здесь автор в ремарках предлагает постановщикам спектакля представить город в красках, звуках, рекламах, надписях, шрифтах и т.д.

«И вдруг загорается Константинополь в предвечернем солнце. Виден господствующий минарет, кровли домов. Стоит необыкновенного вида сооружение, вроде карусели, над которым красуется крупная надпись на французском, английском и русском языках: «Стой! Сенсация в Константинополе! Тараканьи бега!!! Русская азартная игра с дозволения полиции». <…> » Надпись: «Русский деликатес – вобла. Порция 50 пиастров<…> Мелькают русские в потрёпанной военной форме». В самой лаконичности ремарок есть свой художественный текст, своя стилистика.

В восьмом сне снова воспоминания о Константинополе: *«Комнаты в коврах, низенькие диваны, кальяны <…>. За стеклом догорает константинопольский минарет, лавры и вертушка тараканьего царя. Садится осеннее солнце… Закат, закат…» В описании Стамбула – его деловая и европейская часть, турецкие дома «с плотными жалюзи на окнах, со своей замкнутой, береженной от постороннего глаза жизни»*[3].

В описаниях Востока часто рассказывается об оживленных крытых базарах. Но *«Большой базар» – «Гран-базар» – «Капалы Чаршы» в Константинополе, наоборот, поражал своей какой-то затаенной тишиной и пустынностью. <…> Ощущение такое, что если туда попадешь, то уж не вернешься…»*[4].

Рассказы о пребывании в этом городе легли в эпизоды известной пьесы

[1] А. Козырев, Н. Голубкова. Прот. Булгаков. Из памяти сердца. Прага. (1923-1924).,стр. 101
[2] Там же
[3] Белозерская-Булгакова Л.Е. Воспоминания. М.: Художественная литература. 1989,стр.7
[4] Там же, с.26

М.А.Булгакова «Бег».

О Константинополе, который казался *«самым красивым городом в мире»*, написал Вадим Андреев (сын писателя Леонида Андреева) в своей книге «История одного путешествия»: *«В Стамбуле (Стамбулом назывался в те годы не весь город, а только его южная часть) возвышались серые кубы пристроек и неповторимый овал купола Айя-Софии – «Ведь купол твой, по слову очевидца, как на цепи подвешен к небесам» (О.Мандельштам). Огромную площадь Баязета охраняли темно-голубые свечи минаретов, и небо над городом казалось безграничным»*[1].

Здесь рассказано многое о жизни военной молодежи, выброшенной после разгрома Белой армии без всяких средств существования в этот пестрый и многоязычный город. Местами для ночевок и спасения от холода стали крыши минаретов. Устраивались кто как мог: кого-то приютил тесный монастырь св. Андрея в Каракее, кому-то разрешали ночевать в конюшнях дворца Долма-Бахче, а кто-то просто улегся на берегу моря под перевернутыми лодками. *«Количество беженцев увеличивалось со дня на день <…> , и от зари до зари клокотала пестрая , грязная, горланящая, бешеная толкучка, страшный центр всей русской жизни в Константинополе»*[2].

Это были годы оккупации Константинополя союзными войсками – французами, англичанами и др. *«В то время женское население города, протестуя против оккупации, носило траурные черные платья и редко открывало лица, – Константинополь был единственным городом Оттоманской империи, где женщинам разрешалось поднимать чадру»*[3].

Экзотический, орнаментированный в восточных сказаниях и сказках Стамбул предстает в своем «затрапезном виде» в рассказах замечательного писателя-юмориста Аркадия Аверченко. Это и освоение нового пространства в неисчислимых новых названиях улиц, площадей, мостов, переулков. В рассказе «Русское искусство» актриса объясняет: *«Где я живу? Позвольте. Не то Шашлы-Башлы, не то Биюк-Темрюк. А может быть, и Казанлы-Базанлы. Впрочем, дайте мне лучше карандаш и бумажку, я вам нарисую.*

Отчасти делается понятна густая толпа, толкущаяся на Пере: это все русские стоят друг против друга и по полчаса объясняют свои адреса: не то Шашлы-Башлы, не то Бабаджан-Османлы. Выручают обыкновенно карандаш и бумажка, причем отправной пункт – Токатлиан: это та печка, от которой всегда танцует ошалевший русский беженец»[4].

Герои рассказа – известная петербургская драматическая актриса, писатель, командовавший когда-то армией генерал, преобразившиеся, как и многие другие представители высших слоев русского общества, в кухарок, горничных, швейцаров, а позднее в Париже, Берлине, Праге – в шоферов такси, уличных разносчиков и др.

Константинополь вошел отдельной главой в известную книгу В.Шульгина «1920 год. Очерки» (Л. Прибой, 1927). Город напоминает автору Петроград. «*Золотой Рог – будто Нева. По одну сторону – как будто бы Петроградская сторона, там набережная. Не очень похоже, но есть что-то общее. Красиво… Очень красива эта симфония огней. Толпа непрерывно струится через мост. Тепло… Как теплый вечер в начале октября в Петрограде. Боже, где все это?»*[5].

«Я давным-давно страшный, убежденный туркофил. В столице народа, с которым мы воевали века, воевали и в последнюю войну, в столице, на которую мы столько раз и совершенно открыто претендовали, желая взять ее себе, только тут

---

[1] Андреев В.Л. История одного путешествия. Повести. М., Советский писатель. 1974
[2] Там же
[3] Там же, стр.193
[4] Аверченко А. Одиннадцать слонов. Рассказы.М.:Современник,1989.стр.124
[5] Шульгин В. 1920 год. Л.: Прибой; 1927, стр.252
[6] Там же, стр. 258

несется неумолчный крик: – Харош, урус, харош… Чудесны дела твои, Господи!..»[6].

Недолгое константинопольское житье представлено в книге Дон-Аминадо «Поезд на третьем пути» (М.,1991): *«На шестые сутки – берега Анатолии. Мирт и лавр, и розы Кадикэя. Босфор, Буюк-Дере. Дворцы, мечети, высокие кипарисы. Колонна Феодосия. Розовые купола Святой Ирины в синем византийском небе. И над всем, над прошлым, над настоящим, сплошной довременный хаос, абсурд, бедлам, международный сумасшедший дом, который никакой прозой не запечатлеть, никаким высоким штилем не выразить.*

Дрожит в воде, в воде Босфора,
Резной и четкий минарет.
И муэдзин поет, что скоро
Прийдет, вернется Магомет.[1]

В «Галатских переулках» Ильи Сургучева[2] перед нами другой Стамбул. *«Старые, то двух, то трехэтажные, дома – старые-старые: кажется, что они – еще генуэзской постройки. Нижние этажи этих домов разделены на клетки»*.

«Реки Вавилонские» – пьеса И.Сургучева, написанная им в бедности и отчаянии во время короткого пребывания в Константинополе. Действие разыгрывается в бараке одного из лагерей для эмигрантов-беженцев. Герои пьесы – люди разных социальных слоев: губернатор, прокурор, филёр (из Особого отдела), камер-юнкер, неисправимые монархисты, художники, монах Киево-Печерской Лавры, помещик, церковный староста. Один из героев так говорит об этом: «Когда еще такая компания собиралась под луной».

Действующие лица ведут разговоры о прошлом, невозвратимом времени.

Воспоминания о дворцах, Царском Селе, цветущей сирени, подстриженных деревьях.

Традиционное осмысление всего происшедшего, любовь к далекой и уже непостижимой Родине…

*«**Губернатор**: Его Величество встал в добром здравии, был милостив, кормил сахаром лошадей. А мой дворец одними окнами, из служебного кабинета, выходил на бульвар, а другими – из столовой на реку. Терраса была широкая такая, во весь дом, – хоть свадьбу играй. Бывало, летним вечером сядешь пить чай, – плывут пароходы, огни зеленые, огни красные. Бинокль возьмешь – у меня хороший бинокль был, цейсовский, – людей видишь: в фуражке купец-старовер, палуба первого класса, палуба второго класса.*

***Губернаторша** (из соседней кабинки.): Замолчи, Вольдемар! Ну, что опять разболтался? Кому что нужно? Совсем в детство впадать начал».*

*«**Помещик**: Я восемь тысяч десятин имел. Своя дача в Крыму, около Алупки. Драгоценности какие были! Вспомнить страшно. Дворянство пятой книги. Связи в Петербурге, связи в Москве. Актеры Малого театра своими людьми в доме были»*.

Окончанию пьесы предшествует пауза и реплики двух не названных персонажей:

«2-й: Идет вечер. С ним сон.

1-й: Сны мимолетные, сны беззаботные.

2-й: Природа каждый день приучает человека к смерти. Засыпая, ты ложишься

[1] Дон-Аминадо. Поезд на третьем пути. М. Книга. 1991. стр.231-232
[2] Сургучев И. Реки вавилонские Литература русского зарубежья. Антология в шести томах, т.I.Кн.1М.:Книга,1991.

в гроб. Просыпаясь – воскресаешь. И разве так страшна смерть? Сон».

Константинополь вспоминает герой рассказа И.Бунина «В Париже», город, где его бросила молодая жена. *«Постыдно. Тоже был мальчишка, красавец гречонок, чрезвычайно богатый. И в месяц, два не осталось и следа от чистой трогательной девочки, которая просто молилась на Белую армию, на всех нас. Стала ужинать с ним в самом дорогом кабаке в Пера, получать от него гигантские корзины цветов… Нелегко было забыть ее, – прежнюю екатеринодарскую…»*[1]

Стамбул упоминает протоиерей С.Булгаков в своих дневниковых записях «Ялтинский и Константинопольские дневники».

«Вот мы уже вторую неделю в долгожданной, «златоверхой» Праге. Сидим в каменной клетке «Свободарни» и вспоминаем, как Царство Небесное, матушку Россию и, как сказку, пленительный Стамбул»[2].

Из мемуарной литературы отметим также книгу А.Н.Вертинского «Четверть века без родины. Страницы минувшего», оставившего и свои воспоминания о Стамбуле.

«Константинополь. Рано утром мы вошли в Босфор. Нашим глазам предстала панорама из тысячи и одной ночи. Залитый огнями Золотой Рог. Сахарно-белые дворцы султанов со ступенями, сходящими прямо в воду. Море огней. Тонкие иглы минаретов. Башня, с которой сбрасывали в Босфор неверных жен. <…>

Я сошел с парохода. В Константинополь. В эмиграцию. В двадцатилетнее добровольное изгнание. В долгую и горькую тоску».[3]

В «Рассказах о свободном времени» Гайто Газданов – русский писатель-эмигрант, прозаик, литературный критик – рассказал о Константинополе (Царьграде), очаровавшем русских эмигрантов-изгнанников своей красотой и сказочностью.

«Мы гуляли по улицам Константинополя, очень хорошего города. С европейских высот мы видели территорию Касым-Паши – рухнувшее величие могучей тысячелетней империи. Мы попадали в узкие переулки Стамбула, где маленькие ослы невымершей древней породы возили на своих спинах связки дров и высокие корзины с провизией. Женщины с закрытыми лицами несли узкогорлые кувшины – это напоминало нам картины из Библии. Неподвижные турки, целыми днями просиживающие в кофейнях, постигали, как нам казалось, самые сокровенные тайны Востока»[4].

В 1920 году Гайто Газданов пароходом уехал в Турцию. В Константинополе он написал свой первый рассказ («Гостиница грядущего», 1922). Он был признан одним из одаренных писателей, появившихся в эмиграции.

Турция оказала большую помощь русским эмигрантам-изгнанникам. Здесь, в этой великолепной стране, и сегодня не забыли далеких русских изгнанников. Им посвящаются книги, пишутся статьи, снимаются документальные фильмы. Книга Марины Сигирджи «Спасибо Константинополь! По следам белоэмигрантов в Турции»[5] посвящена русским эмигрантам, которые после революции и Гражданской войны оказались в Турции.

---

[1] Бунин Иван. Темные аллеи. В Париже. Издательство АСТ, 2011. стр. 35
[2] Булгаков С. Из памяти сердца. http://ivashek.com/en/biography/diaries/592-iz-pamyati-serdtsa-praga-1923-1924-predislovie-kozyreva-a
[3] Вертинский А.Н. Страницы минувшего.
[4] Гайто Газданов. Рассказы о свободном времени. // Воля России. 1927. №№ 8–9.
[5] Сигирджи Марина. Спасибо, Константинополь! По следам белоэмигрантов в Турции. Европейский дом. ISBN: 978-5-8015-0391-2. 2018)

ГОСТЬ

МИХАИЛ СМИРНОВ

(Россия)

Р А С С К А З Ы

Мозаика жизни

Аким Фадеев добрался до деревни ранним сентябрьским утром. Более суток на поезде в душном переполненном вагоне, где гомон стоял круглосуточно, а пассажиры то и дело шмыгали по проходу. И вздохнул облегченно, когда объявили его станцию. Торопясь, спустился, держа в руках выцветший вещмешок. Отошел в сторонку и закурил. Раздался долгий гудок и вагоны поплыли мимо него. Поезд стал набирать скорость. Аким посмотрел вслед поезду, который и останавливался-то всего на минутку-другую. Хотел было зайти в буфет, но раздумал и, подхватив тощий вещмешок, заторопился к трассе, что проходила неподалеку от вокзала. Повезло. Долго не пришлось стоять. Первая же машина остановилась возле него, когда он махнул рукой. Аким не стал в кабину забираться, буркнул, что там воздуха маловато, забросил тощий вещмешок в кузов, подтянулся и одним рывком взобрался следом. Оперся об кабину и всю дорогу провел на ногах. Мотал головой, вытирал рукой глаза, может, пыль попадала, а может, слезы вытирал – кто знает… Осматривался по сторонам, с удивлением замечая большие перемены. И правда, всё вокруг изменилось за долгие годы, но в первую очередь изменился он сам…

На повороте, когда показалась деревня, Аким постучал по кабине. Не дожидаясь, когда остановится машина, он подхватил вещмешок и спрыгнул на землю. Сунул деньги за проезд и махнул рукой шоферу. Тот просигналил и запылил по проселочной дороге. Аким опустил вещмешок на землю. Достал мятую полупустую пачку сигарет и закурил, продолжая осматриваться. Попутка давно уж укатила, а он почему-то не решался сделать первый шаг. Словно преграда стояла, а может, страх перед будущим. А каким оно будет – это будущее, Аким не знал.

Он докурил. Окурок маленький, но всё равно не стал выбрасывать. Вдруг пригодится. Достал спичечный коробок, в котором были окурки, сунул туда и снова спрятал в карман. Так, на «черный» день… Громыхнув кузовом, мимо проехал грузовик. Шофер выглянул. Нахмурившись, всматривался в Акима, что за чужак появился в деревне, к кому приехал. И Аким взглядом проводил его. Не узнал шофера. А как узнаешь, если в деревню вернулся после двадцати с лишним лет отсутствия, пятнадцать из которых провел в местах не столь отдаленных.

Аким задумался, куда пойти. Если домой, в доме давно никто не живет. С той поры, как родителей схоронили, пока он срок отбывал. А к родне пойти, он не знал, как его примут, а то и на порог не пустят. Да и вообще кто-нибудь из родственников остался в деревне или, как и он в свое время, в города подались и там живут. Живут и про деревню не вспоминают. Аким тоже не вспоминал. Попади в родные края в другое время, наверное, он бы мимо проехал, а сейчас решил возвратиться, но останется ли жить в деревне – этого не знал. Ему не хотелось возвращаться в город или колесить по стране. Он устал от лагерной жизни, куда быстро попадаешь, а вернуться домой и отмыться от этой грязи — сложно и не каждому удается.

Он задрал голову и взглянул на утреннее, но уже прохладное сентябрьское солнце. Громко чихнул. Сморкнулся. Сплюнул. И, прищурившись, снова посмотрел на солнце. Ранняя осень. Бабье лето на дворе. Со дня на день начнут картошку вы-

капывать, пока дожди не зарядили. А пока взрослые на работе. В деревне остались старики. Ребятишки в школе. Не слышно детских голосов. Редкий раз петух заорет, или донесется собачий лай, и снова наступает спокойствие. Ну, как тишина… Отовсюду доносился шум машин и тракторов, дороги паутиной протянулись по округе. За лесопосадкой лязг и тарахтенье. Там мастерские. Отсюда их не видно, где стоял Аким, но он помнил, как в детстве бегал туда с дружками. Взрослые гоняли их, а мальчишкам было интересно поглядеть, как ремонтируют машины, как ковыряются в моторах. И они тоже старались подлезть под руки мужикам, с советами совались, а их прогоняли, обещая крапивой отстегать. Но мальчишки не унимались. Всюду совали свой нос. А летом, бывало, приставали к рабочим и клянчили резиновую камеру, чтобы в пруду или на речке поплавать…

Аким вздохнул, вспоминая детство. Взглянул на деревню. Деревья заполонили всю округу. Золотом плавятся березки под утренним солнцем, а там рябинки алеют гроздьями. Склон горы в проплешинах, а лес, что был на другой стороне реки, сплошь в разноцветье. Сердце защемило при виде этой красоты. Аким растер грудь рукой и снова вздохнул. Н-да, более двадцати лет не был в деревне – это огромный срок, а пятнадцать из них, которые провел в лагерях, вообще можно выбросить из жизни. Да, конечно, можно выкинуть, а что же делать с памятью, что делать с этим огромным сроком, где каждый день не двум или трем дням равнялся, а каждое мгновение, проведенное в неволе, можно смело приравнивать к цене самой жизни. Там чужая жизнь ни во что не ставится, но для каждого, кто отбывал срок, своя – бесценна. Аким тоже ценил её и поэтому сейчас живой, а не лежит в сырой земле…

Хорошо, что никого не видно на деревенской улице. Аким забросил вещмешок на плечо. В нём ничего нет. Пара маек, трусы, книжка, да всякая мелочь. Это всё, что заработал в своей жизни. Правда, есть деньги, но они ещё понадобятся. Неизвестно, что его ждет в дальнейшем, а деньги всегда пригодятся.

Аким оглянулся, словно решался, и наконец сделал первый шаг. За ним второй и третий. Он сбежал с дороги и пошел по тропке, что вела вдоль дворов. Не хотел, чтобы его видели. Лучше позднее встретиться со всеми, посидеть и поговорить, но сейчас, именно в этот момент, он никого не хотел видеть. Он вернулся в родную деревню после стольких лет отсутствия. Сейчас ему просто хотелось добраться до дома, а по дороге посмотреть на деревню, что с ней стало, а потом заглянуть в свою душу и подумать, как он будет здесь жить, да и будет ли, а если не понравится или не приживется, тогда дом на замок и станет мотаться по стране. Не за счастьем помчится, а будет покой для души искать. Слишком она устала за все эти годы, проведенные в лагерях…

Он шагал по тропке, исподлобья посматривая на деревню. Напротив, возле дома, сидел старик в телогрейке, в фуражке, надвинутой на глаза, и в штанах, заправленных в шерстяные носки, и в галошах, а рядом с ним свернулась клубком пестрая кошка. Он прислонился к забору, за которым рябинка развесила яркие гроздья. В руках клюшка. Сидел, и было видно, что дремлет. Наверное, пригрелся на солнце. Вдалеке появилась женщина с ведрами. Аким замедлил шаги. Она подошла к колонке. Пока наливала воду, всё всматривалась в Акима, пытаясь угадать, кто это в такую рань по деревне шагает, но не признала и, подхватив ведра, засеменила к калитке.

Аким вытащил сигареты. Взглянул на магазин, стоявший на пригорке. Замок висит. Потом посмотрел на солнце. Уж высоко поднялось. Пора бы магазину открыться. Наверное, продавщица запаздывает, а может, за товаром уехала. Если отправилась за товаром, тогда не раньше обеда появится – это он помнил из далекого детства. Приостановился, хотел было подождать, а вдруг придет, но из проулка появились две старухи, направляясь к магазину. Он вздохнул, заметив любопытные взгляды старух, отвернулся и прибавил шаг. Они смотрели вслед Акиму, о чем-то зашептались, тыча пальцами, потом пристроились на пустых ящиках возле крыльца,

продолжая прерванный разговор.

Издалека донесся протяжный дребезжащий звонок – это в школе, что виднелась неподалеку от березового колка. Чуть погодя дверь распахнулась, и на улицу высыпали мальчишки. Закричали и тут же принялись играть в какую-то игру. Следом за ними появились девчонки. Они столпились возле двери и о чем-то разговаривали. Иногда кричали мальчишкам и грозили кулачками. Пронзительно визжали и, толкая друг друга, скрывались за дверью, спасаясь от мальчишек, которые пытались поймать их. Так было всегда. Аким часто вспоминал, как они с дружками бегали на улицу, тоже играли, а еще задирали девчонок, то за косички дернешь, то толкнешь. А те визжали и мчались в школу, чтобы пожаловаться училке. Интересно, а Марь Петровна жива? В те времена она была старухой. Ну, как старуха… Все, кто был постарше, уже считались взрослыми или старыми. Опять донесся дребезжащий звонок. И ребята помчались в школу, торопясь проскочить мимо уборщицы в линялом синем халате, которая вышла на крыльцо с мокрой половой тряпкой в руках и, насупившись, подгоняла учеников…

Аким свернул в проулок и, невольно замедлив шаги, нахмурился, несколько раз оглянулся, не ошибся ли он, а потом нерешительно остановился возле забора, который и забором-то нельзя было назвать, до того редок он был. Аким остановился, всматриваясь в постаревший родной дом, но не стал заходить. Духу не хватило. Окинул взглядом заросший двор. Повсюду репейник, а крапива вымахала выше человеческого роста. И такие заросли, что не продерешься. Зарос двор. Некому присматривать за порядком. Родители ушли друг за другом, пока он последний срок досиживал. Прошло всего два-три года, как их не стало, а гляди же ты, что с двором происходит, не говоря уж про репейник да крапиву, что стеной вымахали повсюду. Он снова посмотрел на дом. Старый. Краска облупилась. Кое-где видны голубые пятна, и всё на этом. Ставни закрыты. И крыльцо покосилось. Зато – это его дом. А зачем приехал, он не знал. Может, чтобы передышку сделать в своей жизни, а потом, если не сможет найти себя или надоест деревенское житьё, плюнет на всё и будет мотаться по стране, покой для души искать. Ну, а ежели на себя рукой махнет, тогда вернется к своим друзьям и начнется разгульная жизнь, а потом опять на нары. Много дорог в жизни, а нужно выбрать одну, видать, его время подошло и надо решать, к какому берегу прибиваться, чтобы наконец-то сложилась мозаика жизни, которая в молодости разлетелась на мелкие частички, и до сих пор он не может её собрать воедино. Пора прибиваться, а куда причалить – он еще не решил…

Возле калитки широкая скамейка. Он помнил её. Гляди ж ты, сохранилась! Еще с отцом устанавливали. Дубовые столбики вкапывали, а потом отец прибил толстенными гвоздями широкую доску. Сказал, что эта лавка сто лет простоит. И правда, ничего с ней не случилось! Пусть сто не сто, но уже не один десяток лет стоит. Аким присел на край. Положил рядом тощий вещмешок. Откуда-то порывом ветра донесло запах свежего хлеба, такой мать пекла в детстве. В животе заурчало, и опять сердце сжало. Он достал сигарету и задымил: густо и торопливо – тоскливо. Вернулся домой. Казалось, сейчас хлопнет дверь, заскрипит крыльцо под быстрыми шагами, а мать не умела медленно ходить, и всегда казалось, словно она бежит. И выйдет мать и крикнет: «Акимка, хватит лентяйничать. Ну-ка, ступай и помоги отцу». Или скажет: «Хватит штаны протирать, лучше в магазин сбегай». И тогда он начинал клянчить деньги у матери, чтобы купить горсточку конфет. Мать поворчит для порядка, но даст. Он схватит сетку, покрепче зажмет деньги в кулаке и в магазин мчится. В магазине всегда были подушечки. Слипшиеся в один комок. Продавщица, тетка Дарья, ножом отковыряет немного, бросит на весы и пока считает его копейки, он брал сладко-приторный комочек и понемногу начинал от него откусывать. А конфетки прилипали к зубам, и не отдерешь. Зато вкусные! А еще в магазине были пряники. Черствые – страсть! Ими можно гвозди забивать, как смеялся отец. Но тоже вкусные.

Две-три штуки возьмешь и чвалдыкаешь полдня.

Аким вздохнул. Казалось, такие мелочи, а помнятся. Да что говорить, если вся наша жизнь состоит из мелочей. Она, эта мелочь, и есть мозаика жизни. Только и делаешь, что укладываешь. Для каждой детальки свое местечко ищешь, а не найдешь, куда приткнуть, так затеряется среди прочих, но придет время, и она, эта самая деталь, сама на место укладывается, и получается рисунок. Рисунок жизни. У одних он яркий и красочный, у других цвета поблекшие, но всё же разноцветные, а у третьих – как зебра полосатые, черно-белые, а уж ярких цветов, можно сказать, почти не видно. Вот и живут люди, каждый выкладывая свою мозаику жизни, а что ждёт человека в жизни – никто не знает, потому что каждый получит по заслугам своим…

Дом постарел. Как бы в землю врос за эти годы, пока он отсутствовал. И крыша местами прохудилась. Он еще возле калитки заметил, что сарай покосился. Нашлась добрая душа, слегами подперла. Так, на всякий случай… А вот баньку не видно за бурьяном. Раньше баня стояла возле речки, что протекала позади огородов, а потом её перенесли поближе, когда воду в дома стали проводить. Многие старики так сделали. И воду не нужно черпать из речки, и до дома близко. Не нужно тащиться межой до реки, а вышел во двор, спустился с крыльца, и в конце двора, за забором, стоит банька. Пусть молодые к речке бегают, вволюшку напарятся, а потом прыгают с обрывчика в омуток. А старикам много ль нужно – всего ничего. Долго не сидят в парилке. Чуток покряхтят на полке и хватит. Аж сердце заходится. Немного похлестался веничком и достаточно. Помылся. Опрокинул на себя ведро воды и всё – чистый, можно идти домой и у бабки просить заслуженную стопочку после баньки. И старухам хорошо. Не нужно с бельем тащиться на зады огородов, а потом снова с мокрым и неподъемным бельем возвращаться домой. Пока доберешься, вся упреешь. Вот и приспособились ставить баньки возле двора…

Аким поднялся. Подошел к калитке. Снял проволочную петлю со столбика и толкнул. Калитка не открылась. Ухватившись за прожилину, немного приподнял просевшую калитку, распахнул и зашел во двор. Перед ним стена из репейника и крапивы. Вроде, осень на дворе, а сорняк прет, как на дрожжах. Ничем не выведешь. Чуть прозеваешь, всё заполонит. А такой, как сейчас во дворе разросся, его обычной косой не возьмешь. Под корень нужно рубить, а еще лучше, если с корнем вывернешь. А чем валить, если лопаты под руками нет. Топором не справишься. Крапива – это такая зараза, что её голыми руками не возьмешь. Отец, бывало, лопатой подрубал, вспомнил Аким. И правда, где её взять? Он стал озираться. А потом, решившись, повесил вещмешок на калитку и, морщась, стал приминать сорняки к земле, чтобы добраться до крыльца. Добрался. Взмок, аж ручьи со лба потекли, как показалось. Утерся рукавом. Вернулся. Схватил вещмешок и стал подниматься по скрипучим ступеням крыльца. И снова остановился. Оглянулся. А потом уселся прямо на грязную ступеньку. Закурил. Курил торопливо, а сам исподлобья поглядывал во все стороны, осматривая двор. Если остаться в деревне, замучаешься, пока двор в порядок приведешь, а еще и дом нужно подправлять, и кособокий сарай. А еще в баньку не заглядывал. Неизвестно, что с ней. В саду, что был подле дома, две старые яблони видны, вишня заполонила, и малина стеной стоит, а в огороде, где картошку сажали и свеклу, потому что там близко вода проходила, бурьян виднеется. А зима не за горами. Как жить, если никаких припасов не заготовлено?

Аким тяжело вздохнул. Достал тоненькую пачку денег – это всё, что заработал в лагере за последний срок. Покрутил в руках. В который раз пересчитал и снова сунул в карман. Задумался. Как жить на эти деньги? Не жить, а хотя бы протянуть долгую и холодную зиму. Пока был в лагерях, привык к малому. Голода не боялся. Но тут же свобода, здесь дом. Если жить, как все люди живут, денег не хватит – это точно, а просить – лагерная жизнь отучила. Эх, а может, взять и плюнуть на эту деревню, на родной дом и умотать в город, к дружкам старым, с кем срок мотал, кто

раньше него освободился. Они звали к себе. Говорили, мол, будешь шампанское стаканами хлестать, шоколадом заедать, а телок будет, как до Берлина, в три ряда. Да, можно податься. Загулять на всю катушку, на всю ивановскую, как говорят. Жить одним днём. Жрать и пить в три горла, стараясь не думать, что ждет тебя завтра. А завтра приедут и заберут тебя под белы рученьки, и снова отправят на нары, потому что в этой жизни нужно за всё платить, а за красивую жизнь – тем более. И плата – огромный срок, а вот выйдешь ли на свободу или сдохнешь от туберкулеза или еще какой-нибудь хворобы в лагерной больничке и похоронят с номерком на маленькой табличке – этого никто не знает, и Аким – тоже…

Н-да, вот уж задачка, – мотнул головой Аким. Поднялся. Подошел к двери. Замок висит. Старенький, простой. Гвоздем ковырни и откроется. Но Аким не стал искать гвоздь. Знал, где всегда хранился ключ. Понадеялся, что никто его не забрал. Сунул пальцы за обналичку над дверью. Всякий мусор под ними. Откуда же его нанесло? Долго искал. Уж было отчаялся, а тут под пальцами почуял ключ. Небольшой, плоский. В щелку между досками провалился. Долго выковыривал Аким, пытаясь ухватиться за него. Но наконец-то получилось. Выудил. Весь ключ побит ржавчиной, кое-где взбугрилась накипь. Но все равно Аким сунул в замок и принялся крутить его туда-сюда, чтобы хоть немного разработать старый механизм. Раньше-то и мучиться не пришлось бы. Этот замок легонький. А сейчас не хотелось его ломать. Всё же домой вернулся. Все же он – хозяин. И вскоре со скрипом, но ключ провернулся в замочной скважине, и дужка выскочила из гнезда. Аким снял замок, толкнул дверь и шагнул на веранду…

Аким переступил порог и остановился. Прищурившись, всмотрелся во тьму. Глаза не сразу к ней привыкли. Дом нежилой, а запахи остались. Сквозь затхлость пахнуло чесноком и луком, ароматами сухого разнотравья: душицей, малиной, иван-чаем и еще какими-то, разве всё упомнишь. А может, почудились эти запахи из прошлого? Аким опять вдохнул, задержал дыхание и пожал плечами. Понемногу глаза привыкли к темноте, а он всё еще стоял и дышал, дышал и дышал; у родины немало запахов, но самые долгожданные – в доме…

На огромных гвоздях, вбитых в стену, висят фуфайка и замызганная подростковая куртка. Уж не его ли? Аким прислонился к ним щекой, рядом жестяной плащ, еще какая-то хламида, а на полу стоптанные, скукоженные сапоги, огромные ботинки с ободранными носами, в них хорошо на двор бегать. Сунул ноги в эту обувку и на двор помчался. А рядом с ними проржавевшее ведро на боку, из которого видна тряпка. Аким хотел было разуться, но передумал. Столько времени в доме не убирались. Толстый слой пыли повсюду лежал, а паутина – та клочьями свисала. И повсюду была заброшенность…

Наклонив голову, чтобы не удариться о притолоку, Аким распахнул дверь, обитую драным дерматином, и оказался на маленькой кухоньке. Это было царство матери. Большая печь раскорячилась, подпирая потолок. В углу ухват виднеется, а на полу несколько чугунков и пара больших кастрюль. Перед окном стол, на котором стояла эмалированная миска, перевернутая вверх дном, и стакан, на подоконнике засохший цветок, рядом с ним воткнутая вилка. Это всё было видно при лучах света, пробивающегося через щели провисших ставень.

Аким, не разуваясь, прошел в горницу. Всё так же, как было много лет назад. Ничего не прибавилось. Хотя… Хотя появился небольшой телевизор на столе, прикрытый тряпкой. Газета, на ней тетрадка и карандаш. Две табуретки под столом. Кровать за занавеской, а в углу шифоньер с распахнутыми дверками. На пыльных рассохшихся полах две дорожки. Окна закрыты ставнями. Он сделал шаг, другой, и закружилась пыль в солнечных лучах. Там и сям пробежали яркие дорожки. Дорога к солнцу – он вдруг вспомнил, как мать называла эти лучи. Ишь ты, казалось, давно забыл, а тут – на тебе, всплыло. Снова закачал головой Аким. Потоптался, потом по-

ложил вещмешок возле дверного косяка, а сам отправился на улицу…

– Ну-ка, стой, шельмец, – раздался скрипучий голос, едва Аким появился на крыльце. – Что тебе нужно в доме? Ты хто? Зачем лазишь в чужой избе? Ну-ка, показывай, что стибрил! – и опять сказал: – Ты хто такой?

– Конь в пальто, – вздрогнув, огрызнулся Аким, увидев сухонького старика с клюкой наперевес, словно ружье держал. – Убери пукалку, а то стрельнешь ненароком.

– И стрельну, – вскинулся старик, потрясая клюкой. – Ходют тут всякие, тащут, что ни попадя. Морды наели, а работать не хотят. Ишь, расплодились субчики! Вот уж я найду на вас управу, и на тебя – тоже! Ишь, дармоеды!

И погрозил скрюченным пальцем.

– Тоже мне, гроза до ночи, – буркнул Аким, взглянув на ершистого старика. – А что тебя-то носит по чужим дворам, а? Может, сам решил поживиться? Не иначе, присмотрел что-нибудь. В хозяйстве всё пригодится, да? Я уже заметил, что лопаты не видно, которая в этом углу стояла, и косырь исчез, которым полы скребли. Уже стырил, да? Привык тягать, что плохо лежит…

– Да ты… Да я… – запнулся старик, запыхтел, вздернув реденькие брови, сдернул фуражку с головы – лысина обнажилась, а по краю – тонкий венчик волос. – Ах ты… да я счас… – он не знал, что ответить, а потом выпалил: – Вот Маньку кликну, она вмиг тебя по рукам-ногам свяжет. Не дочка у меня, а минцанер самый, что ни на есть, настоящий, тока фуражки не хватат. Ага…

Сказал старик и замолчал, не зная, что ему делать.

Аким усмехнулся. Не мужиков хотел позвать, а дочку. Было видно, что старик опасается её. Наверное, есть за что… И снова хмыкнул.

– Ну вот, не успел появиться, а меня снова милицией пугают, – нарочито вздохнул Аким. – Я за всю жизнь столько их перевидал, что другому на три жизни хватит, а ты вздумал пугать. Для меня тюрьма – что дом родной…

– Обормот! – не удержался, рявкнул старик и погрозил клюкой. – Разве ж можно так говорить? Родной дом – он один бывает. Дом, где родился, где твои мамака с папакой жили и тебя, ирода, замастрячили и вырастили, в жизнь отпустили. А помирать станешь, сам мыслями домой вертаешься, где тебя мамка с батькой ждут, а ты – тюрьма, тюрьма… Тьфу, дурень какой! – старик сплюнул, растер галошей плевок и погрозил пальцем. – Ух, задать бы тебе перца! Вот уж правда, Маньку кликну, быстро шею намылит. – И повернулся в сторону улицы, словно правда собирался позвать.

– Н-да, – пробормотал Аким, почесывая щетинистую щеку. – Приехал, называется. Устроили встречу, того и гляди обратно на этап отправят…

– А хто ты? – вздернув бровки, сказал старик и надвинул фуражку на глаза. – Что делаешь в доме? Неча рыскать по чужим избам, а то кликну народ или Маньку позову, тогда быстро отлуп получишь…

– Что, опять Манькой вздумал грозить? – взъерепенился Аким. – Я уж отбоялся своё. И дом не чужой, а самый, что ни на есть, мой, потому что здесь родители жили, и я родился и в жизнь ушел, но моя мозаика рассыпалась, что до сей поры не могу собрать воедино…

– Да ну тебя, брехун, – отмахнулся старичок, но всё равно повнимательнее посмотрел на Акима. – Меня на мякине не проведешь. Родился тут, про какую-то зайку талдычишь… – и опять повторил: – Брехун! А знаешь ли ты, мил-человек, что у хозяев не было ребятни. Одни жили. И померли одни. Всем миром схоронили. А где ж ты был, ежли говоришь, что родом отселева? Что же ты своих мамаку с папакой в последний путь не проводил, как полагается сыну родному? А сейчас стоишь и фу ты, ну ты, лапти гнуты, он в родной дом приехал. Я же вижу, что брешешь! Чать, решил в чужой хате поселиться, да? Вот и придумал небылицу, что тут родился. Меня не проведешь. Я каждого человека наскрозь вижу, а всяких проходимцев, на тебя по-

хожих, – тем более.

Сказал и замолчал, отдыхиваясь. Не привык к таким долгим разговорам.

– Я – Аким Фадеев, – ткнув себя в грудь, сказал Аким. – Здесь родился, учился, а потом в городе остался. И там работал, пока не…

И не договорил. Нахмурился и замолчал. Было видно, что ему неприятны воспоминания.

– Да ну, брехун! – опять сказал старичок и махнул рукой. – Да, был у них малец – это верно. А потом слух по деревне прошел, будто он стал убивцем. Лучше на глаза ему не попадаться. Враз жизни лишит. Всегда вот с таким ножиком ходил, – и старик раздвинул руки, показывая. – Из тюрьмы не вылезал, а может, специально держали, чтобы людей не порешил. Вот те крест, правда! – он махнул рукой перед лицом. – А потом пропал. Ни слуху, ни духу. И тут бумага с гербом пришла, где сообщалось, что их сын помер, а вот где схоронили – этого не помню. Вроде, даже и имя не написано, – и тут же стал объяснять. – У них же как, кто в тюрьмах сидит… Имен нет, а есть номера. Да, сам видел! Выйдет такой из колонны и начинает докладать, что жулик под таким-то номером на месте, а не ударился в бега. И если убёг – сразу собак по следу, и всю милицию поднимают, что убёг варнак с таким-то номером. И всё! Глазом не успеешь подмигнуть, как поймают. У нас не забалуешь – факт!

Старик ткнул пальцем вверх и гордо взглянул на незнакомца: вишь, скока я знаю!

Аким усмехнулся, взглянув на ершистого старичка.

– Хочешь, верь, хочешь, не верь, но я и есть тот единственный сын Фадеевых, — сказал он, достал сигареты и закурил. – Вот приехал, чтобы…

– И правда, матерь божья, убивец объявилси, – торопливо махнув рукой перед собой, перекрестившись, пробормотал старичок. – Это что ж получа…

Не договорил. Отшатнулся и оглянулся. Послышался скрип калитки, и донеслось ворчание.

– Отец, куда умызнул, а? – раздался протяжный женский голос, и старик вздрогнул. – Что по чужим дворам шляешься? Заблудился, что ли? Здесь никого нет, наливать некому. Ну-ка, марш домой. Ишь, губы помазал, а теперь будешь по всей деревне рюмки собирать. Марш, кому сказала?!

Послышались неторопливые шаги и ойканье. Видать, об крапиву задевала.

– Ты, Манька, не повышай голос, не повышай на отца родного, а лучше за вожжами сносись, – снова захорохорился старичок, но на всякий случай немного отошел в сторону. – Я тута самого, что ни на есть, настоящего убивца поймал. Под прицелом держу, чтобы не сбежал. Уж хотел за тобой посылать, чтобы по рукам-ногам связала варнака этакого.

И ткнул скрюченным пальцем в Акима.

– Какого варнака, что мелешь-то? – возмутилась дочь. – В каких зарослях нашел его, а?

И, ойкнув, потирая руки, она появилась перед крыльцом, с недоумением, а потом с любопытством посмотрев на Акима.

– Вот же стоит, – снова ткнул старик. – Я к Ивану Матрехину отправился. Хотел подпилок взять, свой куда-то запропастился. Значит, иду по тропке и вижу, калиточка приоткрыта и поваленный бурьян на земле. Ага, думаю, кто-то в избу забрался. Я быстрее к крыльцу подался. Тока подошел, а тут он – этот душегуб вываливается, как увидел меня, сразу с кулаками кинулся, а потом хотел за ножик схватиться, но я ему не дал. Замахнулся и как закричал: «Стой, вражина, а то клюкой отхожу, что на одно место сесть не сможешь». Испугался, чуть было полные штаны со страху-то не наложил. Вон стоит и трясется, а я караулю…

– Кто с кулаками? – оторопел Аким. – С каким ножом, старый? Я не успел в дверях появиться, ты уже клюшкой замахал. Господи, да что же такое делается-то?

Опять ни за что на зону отправят.

И растерянно осмотрелся.

– Манька, ей-богу, правду говорю! – старик снова махнул рукой перед лицом. – Ты глянь на него, глянь. Чистый варнак! Так и зыркает глазищами, так и зыркает, того и гляди за ножик схватится, душегуб этакий! Но ничего, теперь мы вдвоем быстро скрутим его. Ага!

И погрозил пальцем.

– Неужели снова буду срок мотать? – растерянно сказал Аким. – С таким свидетелем быстро зеленкой лоб намажут. И дернуло же меня приехать в деревню. Тащился в такую даль, чтобы…

И не договорил, озираясь по сторонам.

– Аким? – удивленно сказала Мария. – Ты живой? Глазам не верю! Ты же… Да ну, не может быть…

И отмахнулась, тряхнула головой, а потом снова пристально стала вглядываться в лицо Акима.

– Я это, я, – насупившись, сказал Аким и с недоумением глядел на дочь старика. Что-то было знакомое в лице, а узнать не мог. Что-то крутилось в памяти, очень знакомое, казалось, давно её знает, но вспомнить не получалось. Он снова повторил: – Я это… Вот, вернулся, а тут устроили встречу, хоть опять в тюрьму отправляйся.

– Аким, как же так… – она продолжала смотреть на него и всё качала головой. – Ведь все ж считали, что ты помер. Даже родители думали, что тебя схоронили. Мать сильно убивалась. Постоянно плакала, что даже на могилку к тебе не съездишь. Закопали, аки собаку, и табличку с номером повесили. Как же так, Акимушка?

Она снова повторила и продолжала качать головой.

Он вздрогнул, услышав, как назвали его. Так мать называла в далеком прошлом.

– Похоронили? – удивленно сказал Аким, пожимая плечами. – Я ж живой. А кто это сказал?

И посмотрел на Марию.

– Одни говорили, будто какую-то бумагу прислали, а другие сказывали, что пришло письмо от твоего дружка, в котором он сообщил, что ты помер на его руках и схоронили там же, где ты был, – принялась рассказывать Мария. – А где был – он не написал. И больше ни на одно письмо не ответил. Мать не поверила. Всё ждала, что ты напишешь, потом не выдержала, сама сделала запрос, не знаю, как правильно сказать, но ей не ответили, а может, письмо затерялось… – а потом неожиданно сказала: – А ты насовсем вернулся или проведать приехал?

– Мать знала, что я не пишу письма. Не умею, да и не люблю. И никого не просил, чтобы за меня написали. Странно это, что меня похоронили. Кто-то пошутил нехорошо, – он протяжно скрипнул зубами, а потом пожал плечами. – Мне сообщили, что родители умерли. Поэтому сюда приехал, но пока не решил, насовсем вернулся или нет. Душа изболелась. Хотел на родной дом взглянуть. Посидеть, подумать. Отца с матерью проведать, а там уж время покажет, оставаться или уезжать, – и взглянул на нее. – Вот смотрю на тебя и не могу вспомнить. Что-то знакомое мелькает в голове, а не признаю. Столько лет прошло. Ты уж прости меня, непутевого…

Старик, до этого стоявший молча, захекал, поглядывая на сконфуженного Акима, хотел было что-то сказать, но осекся, наткнувшись на хмурый взгляд дочери.

– Да где уж узнаешь, столько лет не виделись, – она невольно отмахнулась, а потом кивнула. – Вон, видишь, дом под березкой стоит? Я – Мария Лопахина, а ты меня Марийкой, да еще своей невестой называл. Помнишь? А однажды целоваться полез на веранде, а я тебе нос расквасила. Кровь как с барана текла. Все полы изгваздал. Неужто забыл? – она засмеялась и рукой ткнула. – А это мой отец – дядька Матвей. Ты же с моим братом был не разлей вода, с Колькой Лопахиным. Помнишь

его?

Взглянула на него, засмеялась, а потом осеклась и потупилась. И принялась ковырять ногой, обутой в глубокую галошу, какой-то корень, вылезший из земли.

Аким вскинулся, услышав про друга детства, а потом невольно ухватился за нос, где был небольшой узкий шрам и усмехнулся.

– Марийка – это ты?! А я частенько вспоминал тебя. Ты такой стала, что сразу и не признаешь. Ох, как ты расцвела! Частенько вспоминал, как хотел поцеловать тебя. Вот и метка осталась, – он снова дотронулся до носа. – Вот так расцеловала меня! Чуть нос набок не свернула. И Кольку помню. Что с ним только не вытворяли! Шустрый пацан! А где он сейчас? В деревне живет или в город перебрался? Посидеть бы с ним, прошлое повспоминать…

И задумчиво улыбнулся, вспоминая друга.

– Убили Кольку, – нахмурившись, сказала она. – По пьяной лавочке зарезали. За длинным рублем поехал, а там с компанией связался. Ну и того… В общем, там схоронили…

И замолчала, продолжая ковырять землю.

– Извини, Марийка, не знал! Я же, как уехал, так и пропал на двадцать с лишним лет. Ничего не знаю. А сегодня вернулся. Иду по дороге, а сам боюсь, что мимо родного дома проскочу. Изменилась деревня. Вроде, небольшой была, а сейчас разрослась, что ли… А ты, Марийка, разве в деревне осталась? – помолчав, сказал Аким. – А где работаешь? Я думал, ты уехала, а спросить не у кого было.

– Да, уезжала в город, – вздохнув, сказала Мария. – Тетка к себе позвала. Одна жила. Скучно. Мать уговорила меня. Всё веселее тетке. И отвезла в город. Там школу закончила. Пошла в училище. На последнем курсе выскочила замуж. Детишки-погодки родились. Не успели подрасти, осталась одна. Пришлось самой поднимать их. Не заметила, как вымахали и выпорхнули их гнезда. Одна осталась. Сюда вернулась. Отец старенький, да и баловать начал. К рюмке стал прикладываться. Ну и того… Воспитываю помаленьку… – и засмеялась, глядя на хмурого старика, потом поправила косынку и неожиданно всплеснула руками. – Ой, что же получается, а? – сказала она. – Стоим, лясы точим, а ты, чать, голодный, да? Айда к нам, Аким! Покормлю с дороги. Посидишь, чуток отдохнешь, а там уж своими делами займешься. А ежли хочешь, мы поможем или помощь соберем. Одному-то тяжело справляться…

– Я не нищий и по чужим дворам куски не собираю, – неожиданно взбеленился Аким и похлопал по карману. – У меня есть деньги, а мало будет, лучше магазин очищу, но просить ни у кого не стану. Не приучен. Тебе понятно?

– Ишь ты, гусь выискался, – закачала головой Мария, уперев руки в бока. – Ты, Акимка, свои привычки брось. Ты не в тюрьме сидишь, а в родную деревню вернулся. И если тебе предлагают кусок хлеба – это от души идет, а не нищему подают, как ты говоришь. Но даже нищему дают от души, – и опять повторила: – Ишь ты, гусь лапчатый…

– Ты слухай Маньку, слухай, – заторопился старичок, а потом взглянул на дочь. – Истину гришь, дочка, от души. Айда, Акимка, супчику похлебаем. Глядишь, Манька по рюмашке нальет. Приезд отметим…

– Я тебе налью, – погрозила Мария. – Не успею оглянуться, он умызнет со двора, а обратно на бровях ползет. И где находит – не понимаю. Ишь, набаловался, пока меня не было! Ничего, я тебя приструню, – и тут же повернулась к Акиму и дернула за рукав. – Что стоишь, как столб? Живо шагай за мной! Что за времена пошли, мужиков нужно уговаривать. Не боись, Акимушка, целоваться не полезу, но при случае сопатку могу разбить. Кое-какой опыт имеется.

И хохотнула, видать, опять вспомнила, как ему нос расквасила, и, не оглядываясь, поправляя на ходу косынку, направилась к своему дому.

Старик, бормоча под нос, засеменил следом.

Аким усмехнулся. Он не привык, чтобы с ним так разговаривали, тем более, баба. Будь кто другой на её месте, он быстро бы взбеленился и еще неизвестно, чем бы закончился такой разговор, а сейчас Аким промолчал. Удивляясь самому себе, он закурил и неспешно пошел за ними.

Он шагал и всё взбрыкивал головой. Посмеивался над собой, а в душе была не радость, а что-то теплое разливалось, что-то такое, чего он давно не испытывал, все эти долгие годы, проведенные в неволе, а здесь, да еще под натиском Марийки, он, привыкший делать все поперек и никому не доверявший, пошел у нее на поводу. И от этого почему-то стало полегче, словно тяжелый груз сдвинулся, освобождая её – душу…

Возле калитки приостановился. Докурил. Поплевал на окурок, покрутил головой, куда бы бросить и, не найдя, кинул на землю и растер, чтобы какая-нибудь шальная курица не утащила его. Толкнул калитку. Зашел, с любопытством осматриваясь. Во дворе чистота и порядок. На веревке, протянутой поперек двора и подпертой слегой, порывами ветра треплет мокрое белье. Мария стирала. На крыльце – большой таз и в нем какое-то тряпье. Аким мельком глянул. В бане приоткрыта дверь. Видать, стирала, а здесь развешивала. На штакетинах перевернутые банки, бидон и пара галош. Вдоль забора протянулась высокая поленница, сверху прикрытая кусками старого рубероида. Загремела цепью собака. Заюлила хвостом, сунулась было к Акиму, почуяла чужого и залилась лаем, вздыбив загривок, но отпрянула от грозного хозяйского окрика и снова залезла в будку, свернулась там и, зевая, поглядывала на них.

– Проходи, что застыл? – сказала Мария, скинула галоши и босиком зашлепала по крыльцу. – Нечего стоять. Заходите. Приготовлю на стол и буду кормить.

Сказала и скрылась за дверью.

– Шагай-шагай, Акимка, – нетерпеливо подтолкну в спину старичок. – Сейчас уломаем мою минцанершу, по стопочке нальёт. Эх, знатная самогоночка получилася, а крепкая – страсть! Рюмашку-другую опрокинешь, и душа поёт, – и опять повторил, причмокивая: – Эх, крепка, зараза!

Он зажмурился от удовольствия, покачал головой, скинул галоши и, не удержавшись, шмыгнул в дом, не дожидаясь Акима.

Аким пристроился возле окна, когда позвали к столу. В животе заурчало, когда увидел полные тарелки с простым вермишелевым супом, крупно нарезанные пожелтевшие огурцы, а в другой тарелке горка спелых помидор, с десяток яиц, сваренных вкрутую, большие ломти хлеба, прямо на клеенке пучок зеленого лука и большая солонка с сероватой солью. На столе еще что-то было, но Аким отвел взгляд и сделал равнодушное лицо. Ни к чему показывать, что голоден. Мария нахмурилась, но все же достала бутылку. Дед причмокнул и довольно потер ладони. Она поставила три граненые стопки, налила и пододвинула. Аким мотнул головой, стопку отставил в сторону.

– Ты что энто, Акимка, хвораешь, что ли? – сказал старик, с удивлением взглянув на него, а потом покосился на дочку, которая возилась возле печи и прошептал: – А что тогда не употребляешь? Ты не отнекивайся, а то Манька больше не нальет.

И тут же замолчал, когда Мария повернулась к нему.

– Ну-ка, шептун, прекращай, – она погрозила пальцем. – А ты, Аким, что отодвигаешь? Выпей с устатку, да за ложку берись. Чать, уж забыл вкус домашней еды.

– Нет, пить не буду, – мотнул головой Аким. – Не хочу. Вся беда через эту водку. Хорошего мало от неё, а беды много приносит. У меня вся жизнь пошла наперекосяк, – и опять сказал: – Не приставайте!

– Правду говоришь, – закивала головой Мария, покрутила стопку в руке и отставила в сторону. – Тогда и я не буду. Хотела за встречу, ну да ладно, обойдусь. И правда, много беды через эту дрянь. Мой мужик сгорел из-за проклятущей водки.

Допился. А теперь еще и отец стал заглядывать в рюмку. У, я тебе покажу!

Она нахмурилась и погрозила пальцем.

Как ни был голоден Аким, но торопиться не стал. Медлительно взял ложку, зачерпнул немного, чуточку попробовал, а у самого в животе заурчало от голода и хотелось наброситься на еду и хватать всё подряд и есть, есть и есть, но нельзя… Нельзя показывать, что ты голодный. Не так поймут. И ему приходилось сдерживать себя, чтобы не схватить тот или иной кусок. Он ел медленно, не поднимая глаз. Чувствовал, что Мария сидит и за ним наблюдает. Редкий раз спросит что-нибудь и снова умолкает. Это понравилось Акиму. Она не лезла в душу, не совалась с расспросами. И правильно делала. И он молчал. Даже если бы его спросили, он не знал, с чего начинать разговоры разговаривать. Отвык за эти годы. Лишь старый Матвей не мог усидеть спокойно. Ерзал на табуретке, выпрашивал стопочку, обижался, что ему не наливали, умолкал, а потом снова принимался говорить. И всё пытался растеребить Акима, то в бок ширял, то за плечо трепал, но бесполезно. Аким отодвинул от себя тарелку, отложил ложку и сидел, молчком поглядывая в окно. Задумался…

– Ну, дочка, к чаю плесни чуток, – так, словно невзначай, сказал старый Матвей. – А потом чаёк пошвыркаем.

– Обойдешься, – сказала, как отрезала Мария. – Сейчас наклюкаешься, а потом будешь охать и животом маяться…

Старик запыхтел. Обиделся. Сидел в углу, косился на дочку, которая убирала посуду со стола, и ворчал под нос. Потом поднялся. Похлопал по карманам, достал курево, хотел было закурить, но наткнувшись на строгий взгляд дочери, поспешил к двери.

– Айда, Акимка, подымим, – сказал он, нахлобучил фуражку на глаза и вышел, буркнув: – У моей Маньки зимой снега не выпросишь, не то, что стопочку. Даже курить в избе запретила. Минцанер, как есть минцанер! Вот уж уродилась, червоточина…

– Аким, покури с дедом, – сказала Мария, загремев посудой в тазике. – Всё веселее вдвоем-то. Ты не обращай внимания, что ворчу на него. Я же не со зла. Разбаловался он, когда один остался, а тут еще сына убили. А жалельщиков много нашлось. Здесь налили, там поднесли и всё – сорвался. А много ль ему нужно? Стопку-другую опрокинет и – ищи-свищи его по деревне. Летом ладно, можно под любым кустом проспаться, а зимой недолго и замерзнуть. Вот и приходится его в ежовых рукавицах держать. А кто будет держать, если не я? Так и воюю с ним. Ничего, всё на пользу делается. Ну, иди, покури. Чать, ждет тебя. Сейчас жаловаться начнет. Эх, мужики! С виду крепкие, а ломаетесь быстро.

Она беззлобно хохотнула и опять загромыхала посудой.

Аким вышел. Уселся на ступеньку, закурил и задумался, поглядывая по сторонам. Рядом примостился дядька Матвей. Курил, о чем-то рассказывал, что-то спрашивал, но Аким много не разговаривал. Просто сидел, смотрел на деревню, прислушивался к шуму, и на душе становилось теплее. Исчезал груз, который носил долгие годы. Казалось, даже дышать стало полегче. И не нужно было озираться, не нужно ждать, что произойдет что-то плохое и его снова сорвет с места и закуролесит-понесет куда-нибудь, а в конце пути опять будут ждать тюремные нары. А сейчас он просто сидел на крыльце и радовался ей – этой самой жизни, радовался старому Матвею, который пристал как банный лист и все тормошил его, о чем-то рассказывая, но еще больше радовался Марийке, а почему – этого не мог объяснить. А потом он поднялся, осматривая ухоженный двор, и повернулся к старику.

– Дядька Матвей, дай лопату, – прищурившись, Аким взглянул на солнце. – Весь двор сорняками заполонило. Репейник разросся, что косой не возьмешь. Будылья в руку толщиной, — и опять повторил: – Дай лопату. Потом верну. Сейчас пойду, порядок наведу.

– Дать-то можно, но затупишь, а точить мне придется, а вдруг еще черен сломашь? – протянул старый Матвей. – А хто за работу заплатит? Ну, ежели в магазин сбегаешь, пузырек винца притащишь, так и быть, сговоримся…

И причмокнул, хитро взглянув на Акима.

– Я те дам – магазин! – повысила голос Мария, появившись на крыльце. – Ишь, чего удумал, старый пень! Не успел человек вернуться в родной дом, а у него бутылку выпрашивают. Совесть поимей, старый! Живо взял лопату, собрал инструменты и шагай на помощь. Делом займись, а не рюмки собирай! – и повернулась к Акиму. – А ты не вздумай на поводу идти у старого. Иначе оба по шеям получите! – помолчала, а потом сказала: – Вижу, решил остаться, да? Молодец, Аким! Правильно делаешь. Работа всегда найдется, было бы желание.

– Пока не знаю, – задумчиво проговорил Аким. – Пока не решил. И хочется остаться и мысли всякие одолевают. Больше вопросов, чем ответов. У меня была своя жизнь, а у вас другая она. Пока поживу, с людьми поговорю, посмотрю, как меня примут, а потом уж буду решать, оставаться или нет. А пока не знаю…

Сказал и развел руками.

До вечера работал Аким, вырубая сорняки. Дед Матвей потихонечку перетаскивал их за баню, укладывая в одну огромную кучу. Аким редкий раз курил, о чем-то думал, смотрел на старика, но будто не видел его. Снова брался за инструменты и продолжал работать. Двор становился как бы обширнее, что ли, но в то же время в глаза еще больше стала бросаться запущенность. Видно было, что здесь долгое время никто не жил.

Смеркалось, когда Аким приставил лопату к забору, присел на ступеньку и устало вздохнул, рассматривая кровавые мозоли на руках.

– Умотался, Акимка? – мелко засмеялся старый Матвей и рядом пристроился. – А мы, представь, всю жизнюшку работаем. Не успеет человек на свет божий появиться, для него инструмент готовят. Каждому свой достается. Ага… Мне молоток перепал. Сейчас расскажу… – он призадумался, а потом сказал: – Помню, батька что-то мастерил на крыльце, а я, бесштанная команда, рядом крутился. Гляжу, он куда-то ушел, а молоток на ступеньке оставил. Я решил помочь ему. Схватил, посильнее размахнулся да как вдарил! Метился по гвоздю, а попал по руке. У меня сразу пальцы в растопырку стали, а ногти во все стороны разлетелись, как пули засвистели. Ей-богу, не вру! Глянь, Акимка…

И сунул ему чуть ли не в лицо шишкастые пальцы с корявыми ногтями.

– Ну что ты брешешь, старый? – заскрипела калитка, и во дворе появилась принаряженная Мария в простеньком, но чистом платье, серенькая кофта на плечах и яркая косынка на голове. – Ты, Аким, не слушай старого. Сбрешет и глазом не моргнет. Ногти, как пули просвистели… – она передразнила отца. – С такими ногтями можно по скалам карабкаться или в каменоломне работать, и кирка не потребуется, а еще можно землю копать, и лопата не понадобится.

Сказала, нахмурилась, а потом не выдержала и звонко расхохоталась.

Аким взглянул на пыхтевшего Матвея, который сразу же спрятал руки за спину, на смеющуюся Марию и тоже не удержался, вслед за ней засмеялся. Сначала неуверенно, а потом всё громче и громче.

– Уморили, – затряс головой Аким. – Я уж забыл, когда в последний раз так смеялся. Аж скулы свело.

И опять захохотал.

И старик, с обидой глядевший на них, неожиданно хлопнул себя по худым коленям и тоненько залился.

– Эть, ну не дочка, а минцанер настоящий, – говорил он и снова начинал смеяться. – Эть, что за язык-то? Боженька семерым нес, а ей достался.

– Вижу, не языками мололи, а работали, – вытирая слезы, сказала Мария, кивая

на пустой двор. – Вон сколько всякого хлама перетаскали. Молодцы, мужики!

– Мужики в поле пашут… – вскинулся было Аким и запнулся. – Ладно, проехали… Здесь, Марийка, с утра и до вечера нужно пахать, чтобы двор в надлежащий вид привести. Слишком запущен.

– Сделаешь помаленьку, а мы поможем, – сказала Мария. – Москва не сразу строилась. Вон, батю моего будешь на помощь звать. Я подойду, если будет надобность. А уж на большую работу соберем помощь. Никто не откажет. Все придут. У нас принято помогать соседям, – и еще раз осмотрела двор. – Ладно, давайте-ка закругляйтесь с работой. Вечерять пора.

– А стопку нальешь? Умотал меня Акимка, аж руки-ноги трясутся. Не человек, а самый что ни на есть трактор, – запнулся, а потом повторил старый Матвей. – Стопочку-то нальешь, Мань? Ведь с устатку даже царь пил…

– Вот станешь царем, тогда налью, – усмехнувшись, сказала Мария.

– Ты глянь на нее, Акимка, – тыча корявым пальцем, стал жаловаться старый Матвей. – Говорю же, она минцанер, а не человек. Тут у людей руки-ноги трясутся от усталости, и силы не осталось вздохнуть лишний раз, а она стопку пожалела. Ты, Манька, поглянь, что у него с руками. Нет, ты поглянь! Вишь какие мозолищи набил. Прям ужас, да и только! Нужно сделать эту… как её… – старик стащил фуражку, почесал морщинистый лоб, вспоминая, а потом обрадованно: – Во, вспомнил, – дефекцию сделать, как снаружи, так и изнутри, чтобы всякую микробу с организма изгнать.

– Ишь, лекарь выискался, – заворчала Мария. – Сама знаю, когда наливать. И не приставай, сказала!

Аким сидел на крыльце. Слушал, как переругивалась Мария с отцом, прислушивался к тишине, смотрел на яркое закатное небо, солнце где-то за горой, но лучи окрашивают облака и от этого они словно нарисованные. Он смотрел по сторонам и в то же время заглядывал в свою душу, где не было ярких пятен и светлых полос, а были черные полосы, тьма и боль, от которой не избавиться…

Рядом присела Мария. Он искоса взглянул на нее. Сроду бы не узнал, столкнись где-нибудь в другом месте. Сильно изменилась! Была пичужкой. Маленькая, голенастая, платье застиранное, косички в разные стороны, за которые ему нравилось дергать, когда приходил к другу. А она визжала, нарочито хмурилась, грозила кулачком, но проходило несколько минут, и она уже всё забывала и снова начинала приставать к нему с какими-нибудь вопросами. А потом стала расцветать. И так, что у него аж сердце стучало, когда с ней сталкивался. И однажды не выдержал. Столкнувшись с ней на веранде, хотел было поцеловать. Сунулся к ней. Ткнулся куда-то в щеку, что ли, а она отшатнулась и как влепила по носу, а в руке была зажата кружка, у него кровь во все стороны брызнула, так умудрилась рассечь переносицу. Метка осталась. Наверное, чтобы про неё не забывал…

Он вздохнул, вспоминая далекое детство. Столь далекое, что казалось, будто всё это придуманное. У него вся жизнь разделилась на две части. В первой были школа и училище, работа и семья, были живы родители и ничего, как казалось, не предвещало беды. И всего лишь небольшой шаг в сторону, одно неосторожное движение – и покатился под откос. Вся его мозаика жизни превратилась в черно-белую, где черного цвета было куда больше, чем белого, а про цветные и говорить нечего, и будет ли просвет впереди, получится ли найти правильную дорогу – он не знал…

Да, годы, проведенные за колючей проволокой, можно выбрасывать из жизни, но в то же время он был старше других на целую жизнь. Ту самую, которую он провел в лагерях. В обычной всё расписано на многие годы вперед. Если сам не сделаешь ошибку, за которую придется расплачиваться годами свободы, ты можешь до старости дожить и не испытать того, что выпало на его долю. А если шагнешь в сторону, тогда можно ставить крест как на прежней, так и на будущей жизни, потому что у тебя начнется другая – тюремная, зоновская, где живут по другим законам, кото-

рые нужно соблюдать. И к концу срока ты уже смотришь на простую жизнь иным взглядом, понимая, что туда дороги не будет. Кто перешагнул черту, тот обратно почти никогда не возвращается…

– Что задумался? – Мария толкнула в бок. – Сидишь, уставился в одну точку и не слышишь. Зову, зову, а он не шелохнется. Чать, устал, с непривычки-то? – сказала она участливо.

– Я работы не боюсь, – запнувшись, сказал Аким. – Наоборот, она отвлекает. Весь день лопатой махал, и прошлая жизнь вспоминалась: как картошку сажали, как выкапывали, как с батей наперегонки огород вскапывали, как тебя… – он запнулся и покосился на нее. – Да много чего вспоминалось. Душу разбередил, – сказал и вздохнул. – Ты бы, Марийка, про себя рассказала. Я же ничего не знаю.

Мария вздохнула, искоса глянув на него.

– У меня сын и дочка, – стала рассказывать Мария. – Уже взрослые. Муж рано помер, самой пришлось ставить детей на ноги. Сын стал военным. Серьезный – страсть! А дочка ласковая. Вот замуж вышла. Рано выскочила, но я не ругаюсь, сама такой была. Первое время по квартирам скитались. Своего угла не было. Тяжело приходилось. Я уж помогала, чем могла, а потом решила вернуться в деревню. Что одной-то делать в трех комнатах? Дочка хотела, чтобы с ними жила, а я наотрез отказалась. Два медведя в одной берлоге не уживаются. А тут еще отец стал баловать. Уж здоровья-то не осталось, а он к рюмке пристрастился. Я посидела, подумала, а потом решилась. Взяла и отдала квартиру дочке. Что ей с семьей скитаться по чужим углам-то? Отдала, а сама в деревню уехала. И ты знаешь, Акимушка, словно камень с души упал, когда вернулась. Наверное, вот этого мне и не хватало, – она обвела рукой окоём. – Этой деревенской неторопливой жизни с её природой, с её жителями, да со всем, что меня окружает!

И опять обвела окоём рукой, показывая, а потом замолчала и задумалась, поглядывая в сиреневые сумерки уходящего дня.

Старый Матвей подхватился, тихонечко вышел за калитку и куда-то поспешил, постоянно оглядываясь на дочь.

Аким продолжал сидеть. Курил. Поглядывал на деревню, думал про Марию, что она говорила, и вспоминал свою жизнь.

– Да, Марийка, я тоже по-всякому кручу свою жизнь, – задумчиво сказал он. – Как мозаику укладываю. В молодости рассыпал её, эту мозаику жизни, и до сих пор не могу собрать. И так гляну, и отсюда посмотрю, здесь примерю, а деталька не подходит, в другое место приткну её, а там бы взять и выкинуть, да не получается – рисунок испорчу. Забыть не получается, а хотелось бы. Очень хочу выбросить из нее всё ненужное и начать бы с чистого листа, да, видать, поздно. Вся мозаика жизни рассыплется, а получится ли заново собрать – не знаю. Наверное, время моё ушло…

Плечи поникли. Достал сигареты и закурил.

– Аким, а за что ты сидел? – наконец-то спросила Мария. – В деревне разное болтали. Столько наприписывали, что не разгребешь. Чуть ли не в главные убийцы записали тебя. Что ты в зверя превратился. Одних режешь, других калечишь… А я вот сижу рядышком, гляжу на тебя и не вижу никакого зверя, а вижу уставшего человека, у которого душа болит, грузом тяжелым к земле прижимает, а он сопротивляется, всё пытается выпрямиться, чтобы остаться человеком, а не в зверя превратиться. Вот кого я вижу…

– Правду говоришь, устал я, – вздохнув, после долго молчания сказал Аким. – Видать, ноша стала тяжелой, пора бы остановиться. Постараться скинуть этот груз да вздохнуть посвободнее, но не знаю, получится ли… – он взглянул на нее. – За что сидел, говоришь? За дурость свою попадал. А где первый раз попал, там и второй срок дожидается, и третий, и… И начинается бег по кругу: вышел, натворил, арестовали, суд, срок припаяли, отмотал его и снова на следующий круг выходишь. И так

пока не запнешься, пока не затопчут тебя или не сожрут такие же волки, с которыми сидишь, в кого сам превращаешься. И вырваться из этого круга сложно. Почти невозможно, потому что на всех людей, на всё, что тебя окружает, начинаешь смотреть другим взглядом, и на жизнь – тоже…

– А всё же, за что сидел? – не удержавшись, перебила Мария. – А то говоришь, и не понимаю тебя. Слова какие-то находишь. Простые слова, а смысл не могу уловить. Не иначе, в философа превратился, пока там был…

– Первый раз попал за драку, – привалившись к перилам, сказал Аким. – Я же по дурости женился. Мои сверстники давно переженились, у всех детишки бегают, а я еще гулял. Потом познакомился с одной, вроде, ничего девка, решили расписаться. Думал, что это легко – иметь семью. Никуда бегать не нужно, баба дожидается. А сам еще не нагулялся. Ладно, детей не было. Жена дома, а я подхватился и умчался с дружками. Они, эти друзья, для меня были дороже, чем семья. Однажды пришли в парк. Выпили, как всегда, и подались на танцплощадку. Всё было нормально, потом дружки с кем-то сцепились. Драка началась. А я в стороне стоял. Даже не успел подойти, гляжу, мне под ноги нож упал. Из толпы кинули его, когда парня пырнули. Я этот ножик поднял, лишь потом заметил, что он в крови был. Хотел его за забор выбросить, но тут милиция подоспела. И меня, тепленького, да с этим ножом сразу задержали. Все дружки дали показания, что это был мой нож. Отпечатки мои, и задержали с ним же. Всё было против меня, тем более, что парня еле спасли. Инвалидом остался. Я получил большой срок. Дружки всю вину на меня свалили, и мне пришлось за них отдуваться. Они ни разу не приехали. Ничем не помогли, пока сидел. Всё планы строил и ждал, что выйду, с ними разберусь. За каждый год, за каждый день, проведенный за колючей проволокой, с них спрошу. За всё ответят, сволочи! – он нахмурился и заскрипел зубами: протяжно, громко – больно, а потом вздрогнул, покосившись на Марию, и продолжил: – Так и сделал. Вышел и сразу к ним отправился. Даже домой не заехал. К одному сунулся – никого, к другому – никто дверь не открыл, я к третьему, а там пьянка-гулянка, дым коромыслом. Мне сразу стакан сунули, едва в квартиру зашел. Ну, решил, была, не была, выпью для храбрости! За ним еще один стакан наливают. А дальше как в тумане было. Помню, с кем-то ругался, всё пытался подняться и не получалось. Снова стакан сунули. Выпил. И отрубился. А что было, потом узнал. Очнулся в милиции. Сказали, что драку устроил. Я на ногах не стоял, до такой степени был пьянющий, а мне драку приписали, потому что нашлись свидетели, которые будто бы видели, что я мебель крушил в квартире, что гонялся за всеми и грозился кишки выпустить. Кого-то с балкона выкинул, тот сотрясение мозга получил и руки-ноги переломал. Может, сам пьяный вывалился, а на меня свалили. Не знаю… Скорая приехала, а за ними и милиция подоспела. В общем, я мимо дома, и сразу под следствие угодил, потом суд и снова зона, но уже срок поболее заработал. И третий срок по дурости получил. Я же собирался домой уехать, когда освободился. Решил, что завяжу. Пора за ум браться. Тем более, родители ждали. На вокзал отправился. По дороге в магазин сунулся, чтобы какую-нибудь еду в дорогу купить и куревом запастись. Стою возле прилавка. Подходит парень. Хотел похмелиться, а денег не хватало. Я добавил. Он передал деньги знакомому в очереди. Отдал и вышел. Я купил продукты, курево и следом выхожу, а он на лавке сидит. Я присел рядышком. Закурил. Сидим, разговариваем. Думаю, сейчас на вокзал пойду. Докурю и уйду. Не успел. Из магазина появился его знакомый, кому деньги отдали, и сразу шмыгнул за магазин. Видать, один собрался выпить. Парень за ним помчался, а меня чёрт дернул следом пойти. Парень, что был со мной, отнял у него бутылку, мелочь из кармана выгреб, да еще морду набил, а тут милиция из-за угла появляется. Парень сбежал, а я остался. Понадеялся, что трезвый. Ничего не будет. Я же домой собирался. У пьяного спросили, кто отнимал, кто бил, тот на меня показал. Меня под руки и в камеру. О, как! Ограбление да еще драку приписали, хотя я пальцем никого

не тронул, но меня слушать не стали. Накрутили по полной. И прямая дорога снова на зону. Вот так получилось, что из-за пьянки трижды угодил на зону. Столько лет коту под хвост. Отсидел, и сам не знаю, за что. Нет, знаю – за пьянку. С нее всё началось…

И замолчал, прислушиваясь к вечерним звукам. И Мария долго молчала. О чем-то думала, качала головой и всплескивала руками, смотрела на Акима, видать, что-то хотела спросить, но не решалась и снова задумывалась.

– Ну, а сейчас чем займешься? – наконец сказала Мария. – Здесь останешься или к дружкам вернешься?

– Не знаю, – Аким пожал плечами. – Пока не решил. Конечно, можно к дружкам уехать. Звали они. Говорили, что без дела не останусь. А что потом? – он взглянул на Марию. – Опять на нары отправляться? За всё хорошее нужно платить, и платой станут годы жизни. И снова всё вернется на круги своя. Свобода, пьянки, дела-делишки, арест, суд, срок и – на зону, а потом опять на волю… И вся жизнь по кругу. Я досиживал срок и что-то стал задумываться, а нужна ли мне такая жизнь? – он покосился на Марию. – Я видел сидельцев, которые всю жизнь провели в лагерях. А на волю выходили, чтобы снова вернуться, где их знают, где они знали всех – это и есть родной дом для них – зона, а вот от этой жизни они отвыкли, – он обвел рукой. – Настолько отвыкли, что не могут найти себя в ней. Им легче было на зоне жить, чем на свободе. И они уходили снова туда, потому что привыкли. И я свыкся за эти годы, и эту жизнь еще не знаю, потому что забыл, какая она бывает – эта свобода. Отвык от всего, что меня окружает. Хотелось бы вернуться сюда, а получится ли – еще не знаю, потому что для этого нужно время, а его, как всегда, не хватает.

И замолчал. Достал сигареты и задымил: быстро, коротко – зло.

– Время лечит, – вздохнула Мария. – Всё зависит от человека. Если он хочет вернуться к нормальной жизни – он сделает это. Одни раньше, а другие позже, но вернутся. А если не хочет, его ничем не заставишь, – а потом неожиданно погладила Акима по короткому ежику волос и добавила: – У тебя, Акимушка, душа болит, тяжелый груз лежит на ней, поэтому и мечешься, всё не можешь найти дорогу домой, а точнее – дорогу к себе.

А потом поднялась. Осмотрелась. Нахмурилась, не увидев своего отца. Постояла и потрепала Акима за плечо.

– Поднимайся, – сказала она. – Пошли к нам. Я баньку протопила. Пока разговаривали, она уж остыть успела. Но ничего. С отцом помоетесь. А потом ужинать будем, – и, заметив недоуменный взгляд Акима, добавила: – Не серчай, Акимушка. Ты не с протянутой рукой стоишь, а домой приехал. Возвращайся к людям и выкладывай свою мозаику жизни, – она повторила его слова. – А с твоей больной душой мы еще разберемся. Найдем время для этого, найдем.

Сказала и направилась к калитке.

Аким поднялся. Постоял. Оглянулся, как будто в прошлое бросил взгляд. Потом посмотрел вслед Марии, словно хотел разглядеть, что ждет его в будущем и растерялся, задумавшись, где же она, его жизнь, – эта яркая, цветная мозаика, которой так ему не хватало, а не черно-белые полосы, что сопровождали его долгие годы, где черного цвета было куда больше, а про яркие пятна и говорить нечего. Долго стоял, а потом не удержался и, с каждым шагом, всё крепче ступая, зашагал вслед за Марийкой, надеясь, что выбрал правильную дорогу…

Клоп

– Эй, прохожий, – донёсся голос, и Семён увидел, как из распахнутых ворот, где во дворе вовсю играла гармошка, раздавались частушки и визгливый женский смех, к нему торопилась женщина, одетая в ярко-цветастое платье и держала в руках бу-

тылку с мутной жидкостью и гранёный стакан. – Слышь, подожди! Выпей за молодых. У нас радость большая. Наш Вовка женился. Добрую девку в дом привёл. Выпей…

– Некогда, – буркнул Семён, быстрее засеменил по раскисшей дороге и тихо пробормотал: – Не хватало, чтобы я всякую дрянь пил. Обойдутся…

– Подожди, – опять крикнула женщина. – За молодую семью не выпить – это грех. Не беги, сейчас… – приостановившись, стала наливать в стакан.

– Отстаньте! – Семён повысил голос и перешёл на другую сторону дороги. – Ишь, разгулялись…

– Николавна, куда побежала? – кто-то забасил на всю улицу. – Вертайся, нечего за всяким носиться.

– Дык, Валерка, угостить же хотела его, – женщина посмотрела на наполненный стакан. – Чтобы за молодых рюмашечку тяпнул, а он помчался, как от прокажённой. Видать, начальство прикатило. В шляпе, с п**О**ртфелем, – сделав ударение на первом слоге, она принялась медленно сливать самогонку в бутылку.

– Да наплевать на него! – опять раздался бас. – Вертайся, гости ждут. Глянь, что отчебучивает твой Васька. Эть, наяривает! Кум, погодь-ка… Эх-ма, эх-ма! – гулко хлопнув в ладони, Валерка затараторил похабную частушку, пошёл ко двору вприсядку, на ходу теряя галоши, пачкая брюки и колени, и заплясал перед гармонистом.

Оскальзываясь и чертыхаясь, Семён с сожалением посматривал на новенькие импортные туфли, сплошь покрытые грязью, думая, что зря надел в такую непогодь – развалятся. Заметив пожухлую траву на обочине, свернул, на ходу топая ногами и глядел, как отваливались комья грязи с обуви. Осторожно ступая, он направился вдоль дороги, осматриваясь по сторонам. Повсюду тянулись почерневшие заборы, многометровые поленницы, прикрытые дырявым рубероидом. Светлыми латками выделялись новые листы шифера на старых крышах. В палисадниках разрослась бузина, да изредка виделись яблоньки. Тянуло дымком из труб и, как казалось Семёну, ещё больше воняло навозом, который горками виднелся там и сям на огородах, и его запах словно заполонил всю округу, заставляя попёрхиваться, откашливаться и смачно плевать под ноги в грязную жижу, перемешанную с соломой, с мусором и всякой мелочёвкой, которая годами копится на деревенских улочках, постепенно врастая в землю.

Остановившись возле старого забора, Семён ухватился за мокрую прогнившую штакетину. Морщась, наклонился и начал щепкой счищать прилипшую грязь. Пошаркал подошвами по траве. Сорвал пук полыни, поелозил по туфлям и опять ругнулся, что решил надеть новенькую обувь в осеннюю слякоть. Перед кем хвалиться-то в деревне, где уж много лет не был. А сейчас, когда мать похоронят, и вовсе забудет сюда дорогу. Отвык от деревни. Отвык от грязи и нищеты, откуда он вырвался и сбежал в город. Там устроился на непыльную работу. Потом удачно женился на дочке директора маленького кирзавода, но у которого были большущие связи и нужные люди везде, даже в министерствах, так с придыханием, напоминая постоянно, шептал тестюшка, закатывал глаза и многозначительно показывал пальцем-сосиской на потолок. Удачно женился… Может, женили, лишь бы выдать замуж единственную дочку, засидевшуюся в невестах, на которую и взглянуть-то было страшно из-за её необъятной фигуры и огромного роста. Семён встретился с ней на вечеринке. Знакомый пригласил его, обещая веселый вечер. И когда он пришёл с бутылкой дешёвого вина, тот показал на высоченную и толстущую девицу и тихонечко сказал, что это директорская дочь, панибратски приобнял Семёна, хохотнул и шёпотом попросил, чтобы её, страшилку, поразвлекал. Оробев, Семён присел на краешек стула, но после нескольких рюмочек осмелел и начал с ней разговаривать о всякоразных пустяках. Он горделиво посматривал по сторонам – заметили присутствующие или нет, что директорская дочка, Варвара, обратила на него, малорослого и невзрачного, внимание. Говорил с ней, смеялся по поводу и без повода, стараясь по-

казаться весельчаком, парнем-рубахой, затем проводил до дома. В кино пригласил. Она не отказалась. Несколько вечеров по улицам гуляли, а потом она к себе позвала. Там, словно невзначай, в полутьме прижался к ней, норовя обнять за талию, но распахнулась дверь, и на пороге увидел разъяренного отца, который закричал, ногами затопал, будто Семён покусился на невинность его единственной доченьки, маленькой Вареньки, и ему придётся отвечать по всей строгости закона или жениться, как сделал бы настоящий мужчина. Семён выбрал второе. Свадьба, где он напился до поросячьего визга, потом медовый месяц на море, где он пил беспробудно с радости или с горя, кто его знает, и, вернувшись, сразу попал в цепкие руки новоиспеченных родственников.

«С лица воду не пить», – так говорила дородная тёща, намекая на доченьку, а может, и на него, и тут же упрекала, что его, босоту, приняли в приличный дом, к приличным людям, и он до гробовой доски должен почитать их за доброту, за то, что как сыр в масле катается. Да, Семёну приходилось почитать и выполнять всё, что скомандуют тесть с тёщей, лишь бы кататься в масле. Вот и жил в достатке: имел несколько сберкнижек на предъявителя, хорошенькая стопочка наличных радовала глаз; машину, которую тестюшка подарил и оформил на него вместе с небольшой дачкой – двухэтажным домиком-теремком – это рабочие тестя построили и ещё баньку срубили с гостиной и бассейном, да трёхкомнатную квартиру – тёщенька постаралась, выбила в центре города да в престижном районе – обставленную по последнему писку моды дорогущей мебелью, кухонными шкафчиками и шкафами с обеденными да чайными сервизами, стены увешаны коврами, картинами, на полу расстелены ковры, всякие дорожки, и в каждом углу стояли разнокалиберные фарфоровые вазы – этим уж супруга занималась, ежедневно мотаясь по городу на машине и заходя, как к себе домой, к директорам магазинов, рынков, продуктовых да промтоварных баз. А Семён… Семён приходил домой. Надевал длинный халат. Включал импортный телек. Пинком отгонял очень породистую, но бестолковую собачонку, Матильдушку, за неё супруга отдала огромаднющие деньжищи. За шкирку скидывал толстенного откормленного кота и, развалившись в кресле или на диване, весь вечер таращился в телевизор и попивал дорогущий коньячок, пока жены не было дома, что частенько случалось. Ну, а когда она возвращалась, к ним приходили гости – «нужные люди», как говаривал тесть, или сами к кому-нибудь шли, держа под мышками свёртки с дефицитными товарами, в сумках – коробочки с дорогими конфетами, а бывало, что и с драгоценностями – подношения «нужным людям». «Не подмажешь, не поедешь» – всегда напоминал дорогой тестюшка…

– Неужели Сёмка прикатил? – вздрогнув, Семён услышал громкий хриплый голос и, оглянувшись, увидел, что, привалившись к забору, стоял мужичок, одетый в рваную фуфайку, растоптанные кирзачи и, щерясь в беззубой ухмылке, посматривал на него из-под козырька старой фуражки. – А здесь тебя заждались. Думали, вчера прикатишь и, как принято, последнюю ночь возле гроба посидишь, а ты не появился. Чать, супружница не отпускала, да? – и, достав из-за пазухи противогазную сумку, из которой высыпалась горстка гороха, повесил на столбик.

Семён взглянул на знакомо-незнакомое лицо и не мог вспомнить, что это за мужик. Брезгливо оглядев рваную, засаленную одежду, он поморщился и, передразнивая, буркнул:

– Дык не в соседней деревне живу-то, а в большом городе, – съехидничал он, бросил полынь под ноги и, прикрываясь воротником плаща от холодных горстей дождя, стал медленно выбираться на тропку, прислушиваясь к разноголосому гавканью собак во дворах. – Успею посидеть. Ничего с матерью не случится. Полежит… А вы, как вижу, так и воруете, подлецы. Всю страну растащили. Всё вам мало. Нахапаться не можете, жульё!

– Да, крадём, – ершисто крикнул вслед мужик и, размахнувшись, отпинул по-

лынный веник к дороге – машины закатают в грязюку. – И будем тырить. На колхозные трудодни не больно-то разжиреешь, а ребятня каждый день просит жрать. Чать, уж забыл, как сам-то затируху за обе щеки трескал, да щи из крапивы хлебал. А вот за жулика я могу и по зубам врезать, с детства кулаки чешутся. Ты, Сёмка, лучше за своим хвостом следи! – и, заскрипев навесами, громыхнул калиткой, продолжая сердито бубнить под нос.

Хмуря реденькие белёсые бровки, Семён шёпотом матерился, когда ноги разъезжались на скользкой траве, и, прижимая к себе портфель, приостанавливался, осматривая дорогу. Вскоре он добрался до приземистого, покосившегося домика с просевшей крышей, возле которого стояли группками старушки в чёрных платках, мужики с нахмуренными лицами, два паренька рядом с ними крутились и искоса поглядывали на него, и на всех были телогрейки – незаменимая одежда сельчан для повседневной носки. «Любимый наряд для колхозничков», – хмыкнул Семен и представил, как бы он смотрелся в рванине в большом городе да перед своей супругой и тестем с тёщей. Да уж, сразу бы засмеяли и пинками выгнали на улицу. Каждый сверчок знай свой шесток...

– О, Сёмка, здорово! – послышались голоса. – Семён Иваныч, здравствуйте! – и неловко совали ладони лодочкой.

– Здравствуйте! – буркнул Семён и сделал вид, что не замечает протянутых рук. – Кто занимается похоронами? – и надменно взглянул на односельчан.

– Ваша тётушка, Валентина Петровна, – утирая впавший рот, прошамкала старуха, стоявшая возле калитки, и неожиданно пронзительно запричитала: – Ой, горюшко-то, какое! Одни остались с Санькой. Сиротинушки…

Вздрогнув от визгливого, тоненького голоса, Семён натужно кашлянул, чертыхнулся вполголоса и неловко поправил шляпу, блином расползшуюся из-за дождя. Звякнули бутылки в большом портфеле, который он держал в руке. Распахнув калитку, он торопливо прошмыгнул мимо соседей, медленно прошёлся по захламленному двору, оценивающе оглядел старый дом с подслеповатыми оконцами, размышляя, сколько денег можно за него выручить, поднялся по скрипучим ступеням, толкнул рассохшуюся дверь и скрылся на веранде.

– Зазнался Сёмка, как в город сбежал, – погрозив заскорузлым пальцем, простужено забасил крепкий мужик. – Ох, возомнил о себе! А я помню, как лупил его за всякие пакости! Ведь в любую дырку без мыла залезет, от всего отбрешется, других продаст ни за грош, лишь бы самому остаться чистеньким.

– Ванька, ты же завидуешь ему, – пренебрежительно махнула рукой невзрачная женщина. – Сумел человек устроиться в жизни…

– Не устроиться, а пристроиться, – опять громыхнул мужик и, достав измятую пачку папирос, вытряхнул одну и запыхтел, выпуская клубы дыма. – Как сказал, так и есть – пристроился, клоп вонючий! Под тестеву дудку пляшет. Хороводится с теми, от которых можно что-то взять да в карман положить, а на других людей наплевать ему, хоть родная мать будет. Мне-то рассказывали сельчане, кто в городе с ним сталкивался, рассказывали. Поэтому и повторяю, что он – клоп вонючий! – и, грозно сдвинув густые брови, смачно сплюнул и бросил под ноги окурок.

– Правильно, Сёмка – это настоящий кровосос, – загалдели мужики, поддерживая Ивана. – Ишь, гусь лапчатый! Столько лет не был в родной деревне, а подошёл и даже за руку не поздоровался – гнушается нами, не признаёт. Вон говорили, кто за кирпичом ездил, что ему надо ручку позолотить за каждую подписанную бумажонку, иначе пустым домой вернёшься, без кирпичей. Да уж, хорошее местечко приготовил тесть. Денежки не ручейком, а рекой текут в карманы. Не семья, а вор на воре и вором погоняет. Куда только власть смотрит, не понимаем.

– А что им власть-то? – донеслось со всех сторон. – Они сами – власть. Если скажешь супротив слово, так под статью подведут, и будешь пятилетку делянку кедров

окучивать да баланду жрать.

– Хватит брехать-то понапрасну, – перебивая, разноголосо заговорили женщины. – Повезло человеку, что смог в жизни устроиться да жениться на ладной бабе. А вы как были алкашами, так и останетесь. Одно на уме – где бутылку достать, да ещё горазды языками чесать. Пустобрёхи!

– Да, пьём, – исподлобья взглянул Иван и протянул руки. – Взгляни на ладони! Кирза настоящая, а не кожа. Гвозди могу забивать. А если и выпью две-три рюмашки, так с устатку и не более того. Ишь, нашли, чем упрекать мужиков!

– Да я что, – запнувшись, сказала соседка. – Я же просто говорила, что Сёмка ладную жёнку себе нашёл…

– Ха, нашёл, – перебивая, вперед выступил невысокий, щупленький мужичок, картинно отставил ногу, заложил руки за спину и цвиркнул сквозь щербатые зубы. – Поженили дурачка! Вон, Серёга Кривой говорил, что видел его с жинкой. Чуть со смеху не помер. Она на целую голову выше его, да раза в два-три шире, а страшная – страсть! На огороде заместо пугала поставь, так все вороны передохнут. Во какая нынче любовь, бабоньки, – и, поправляя сползающую кепку, взвизгивая, протяжно рассмеялся.

За соседним забором раздался долгий бабий вопль, что-то загремело, с треском распахнулась калитка и, сверкая голяшками, по улице помчалась простоволосая молодуха. Видно было, что ей не впервой убегать от мужа.

– Убью, шалава! – за ней выскочил здоровенный расхристанный парень, бросил вслед полено и, схватив вилы, стоявшие возле забора, покачиваясь, побежал по раскисшей дороге. – Стой, зараза!

– Хе-х, нутром чую, опять Лёха свою бабёнку поймал с командировочными, – осклабился юркий мужичок. – Эх, весело живут! Отлупцует, как сидорову козу, недельку баба отлежится и снова начинает хвостом вертеть. Чего женчинам не хватает, не понимаю…

– Твоя правда, сват, – выпустив облако едучего дыма, закашлялся стоявший рядом старик. – Давно бы выгнал потаскушку, привёл бы другую бабёнку в дом и горя не знал бы.

– Сам виноват, сам, – опять загалдели соседки. – Нечего было городскую девку сюда везти. Привыкли бездельничать, а здесь-то работать нужно. Взглянешь, а у неё ни рожи, ни кожи. Спит до обеда, всё хозяйство запустила. А вечером не успеешь оглянуться, как уже сбежала со двора. Тока и умеет, что глазки строить другим да по сеновалам таскаться…

Повязанная по глаза сгорбленная старушка, одетая во всё чёрное, медленно вышла вперед и, намахнувшись клюкой, отполированной руками за долгие годы, тихо прошамкала:

– Цыц, негодники! Ишь, раскричались! Вы не на базар пришли, а на похороны. Галдят, других обсуждают… За собой смотрите, за собой! Ну-ка, замолчите, пока клюшкой не отходила, бесстыдники! – и начала мелко креститься. – Э-хе-хе, отмучилась наша Тонька, бедняжка… Царствие ей небесное! А Сёмка… Пусть на его совести останется. Бог всё видит…

– И правда, – тоже крестясь, стали шептаться соседки. – Расшумелись, словно на гулянку пришли. Не галдите, мужики. Нельзя, грех…

Семён, распахнув дверь на веранду, заметил в полутьме небольшую крышку гроба, словно не взрослого, а подростка будут хоронить. Поморщился, уловив запах тлена, запах воска, резко пахнуло щами с кислой капустой, пирогами и ещё какими-то тяжёлыми и неприятными запахами. Оглядевшись, думая, куда поставить портфель, чтобы не своровали, он заметил в тёмном сумраке застывшую женскую фигуру, сидевшую на лавке возле ларя, где обычно годами хранилось всякое барахло, которое уже в хозяйстве не применишь и выбросить жалко. Прищурившись, он всмот-

релся, ещё раз хлопнул дверью и нарочито громко кашлянул.

– Кто там шляется? – раздался уставший голос, и навстречу ему поднялась высокая сухопарая женщина, повязанная тёмным платком. – Сёмка, неужто приехал? А мы, когда телеграмму отправляли, не чаяли, что ты появишься. Забыл деревню-то, совсем позабыл. Сколько лет прошло, сколько лет… – и, обняв Семёна, запричитала вполголоса.

Продолжая держать портфель, Семён невольно отстранился, снял шляпу-блин, огляделся, куда бы положить и, не найдя полки, накинул на толстый гвоздь, вбитый в стену. Пригладил реденькие волосёнки, стараясь прикрыть большую проплешину, сердито сдвинул бровки, поджал узкие губы и, прокашлявшись, начальственным голосом сказал:

– Это… Валентина Петровна, сейчас же прекратите завывать, – он шлёпнул ладошкой по мокрому плащу. – Что сырость разводите? Здесь и без ваших слёз хватает слякоти. Ни пройти, ни проехать по деревне. Грязь непролазная! Ничего не изменилось. Как жили, так и живёте в этом болоте! – он брезгливо взглянул на обшарпанные побеленные стены в грязных разводах и клочьях старой паутины.

– Дык, летом подсыпали дорогу, – запнувшись, сказала тётка Валя. – Машины разбили…

– Дык, дык… – недовольно пробурчал Семен и отстранился. – Когда научитесь культурно разговаривать? Только и слышу: дык, чаво, надысь… Эх, деревня-матушка!

– Ты бы, Сёмка, заместо того, чтобы культуре учить, сначала бы подошёл к матери и попрощался, – неожиданно повысила голос Валентина Петровна и упёрла руки в бока. – Ишь, раскомандовался, недоросток! Вон, сейчас возьму чилижник, сдеру с тебя подштанники и быстро отхожу, как в детстве бывало. Ничего, я опосля поминок с тобой потолкую, племянничек ненаглядный! А сейчас марш в избу! – и она ткнула скрюченным пальцем.

Семён не ожидал, что тётка взъерепенится. Он непроизвольно отдёрнулся и шагнул в сторону. Зацепился в полутьме за лавку. С грохотом уронил пустое ведро. Торопливо распахнул дверь в избу и, не удержавшись, с гонором сказал:

– Не Сёмка, а Семён Иванович! Тоже мне, нашли мальчика, – и, не слушая, как взвилась тётка Валя, он проворно захлопнул дверь.

Несколько старушек суетились в задней избе. Вовсю полыхал огонь в печи. Резко пахнуло тленом вперемешку с запахами еды. На столе высились тарелки и разнокалиберные рюмки. Стопками лежали ложки с вилками. Под холстиной виднелись бока испечённого хлеба да нескольких пирогов. В кулёчках виднелись карамельки, печенье и прочая мелочёвка, приготовленная к поминкам. Заметив Семёна, старушки закивали головами, здороваясь с ним. Показали на распахнутые двери передней избы. Быстро перекрестились, глядя на иконы в красном углу и отвернулись, продолжая заниматься делами.

Остановившись в дверях, Семён осмотрелся, крепко держа в руках тяжёлый портфель. Всё осталось, как в детстве. Фотографии на стенах, чахлые гераньки на подоконниках, скрипучая кровать за ситцевой занавеской, возле голландки распузатился сундучище, обитый металлическими полосами, чтобы не развалился от старости. На него, как он помнил, вечерами бросали дырявое ватное одеяло и они с братом, Санькой, ложились спать и каждый из них норовил первым завалиться к стене, чтобы ночью не грохнуться на пол. Ух, как Сёмка злился, если брату удавалось первым забраться на сундук и сразу спрятаться под одеялом. А ночью, разметавшись во сне, Семён частенько слетал с сундука, а брат смеялся над ним. Зато летом, если было тепло, они спали на веранде или на сеновале – вот уж было раздолье. Но сейчас на Семёна давил низкий щелястый потолок, из-под пола тянуло сквозняком, по запылённым оконцам шлёпали дождевые капли. Засиженное мухами тусклое зеркало было завешено линялой тряпкой, а посередине передней избы, в небольшой домо-

вине, установленной на шаткие табуретки, лежала мать, и с обеих сторон рядом с ней сидели несколько человек и тихо о чём-то разговаривали.

– Ну-ка, подвиньтесь, – присел Семён на краешек скамьи, портфель опустил на пол, продолжая придерживать рукой, чтобы не стащили всякие проходимцы. – Благодарю!

Он взглянул на мать. Перед ним лежала не та мать, которую он помнил, а высохшая старушка с морщинистым восковым лицом, с провалившимся ртом, повязанная беленьким платочком в цветочек, из-под которого выбилась прядка не седых, а совершенно белых волос, руки сложены на груди и в них едва теплилась зажжённая свечка.

Исподлобья осмотрев всех, Семён не заметил брата. Да и смог бы признать его – он сомневался. Как уехал в город, с той поры ни мать, ни брата не видел. Да и особого желания не было общаться. Так, несколько раз отправлял переводы матери, а братом вообще не интересовался. Зачем, если пути-дорожки разошлись, и у каждого была своя жизнь – та, которую заслужили, как он думал – одному навоз кидать, а другому в масле кататься. Опять взглянул на мать. Сидел, а в душе было такое чувство, словно перед ним лежала не родная мать, а чужая женщина, и вообще, будто случайно попал на эти похороны, в этот дом, где угораздило родился, но изба была не своя, не желанная, а словно чужая и незнакомая. Он уже давно оборвал почти все ниточки, которые связывали его с деревней и с родственниками, потому что над ним постоянно, как бы в шутку, насмехались тесть с тёщей, обзывая дурачиной и деревенщиной. А ему хотелось быть культурным, как они. Встать с ними на одну ступеньку и жить, как они живут. Да уж, живёт-то хорошо, а вот встать на один уровень, этого не получилось – умишка маловато, намекал тестюшка. Вот и злился на весь белый свет, обвиняя всех и вся в своих неудачах, но, как ни крути, чёрного кобеля не отмоешь добела, так привыкла его тыкать носом супруга.

Вздохнув, Семён привычно пригладил реденькие волосёнки, провёл пальцами по белёсым бровкам, расстегнул верхнюю пуговку на плаще, оттуда выглянул уголок рубашки и яркий краешек модного галстука – подарок супруги. Поморщился, когда сосед дыхнул перегаром, посмотрел на монашку, которая быстро читала молитвы, держа в руках тяжёлую толстенную книгу, мельком оглядел всех, кто был в передней избе и, подхватив портфель, незаметно для других вышел, словно его и не было тут.

– Валентина Петровна, – остановившись возле тётки на веранде, пробубнил Семен. – Мне бы хотелось подробнее знать, кого пригласили на поминки, – и, покачиваясь с пятки на носок, надменно взглянул на неё.

– Ты ополоумел, Сёмка? – держа тяжёлый половник в руках, сказала тётка Валя. – Чать не гулянка в доме, а поминки. Кто знал и уважал вашу матушку, тот и пришёл.

– А где же мой дорогой братец? – удивлённо осматриваясь, с ехидцей сказал Семён. – Эй, Санька, вылезай! О, молчит… Знать, мамку не уважает, если не появился…

– Цыц, племяш! – намахнулась половником тётка Валя. – Не обливай грязью другого, ежели ничего не ведаешь… – и, застыв, начала прислушиваться. – Сейчас будут выносить. Нахлобучивай свою шляпу и жди на улице. На телеге поедешь, а то туфельки измараешь, – не удержавшись, язвительно ткнула в новенькую, но грязную обувь.

– Валентина Петровна, – протягивая тяжёлый портфкль, сказал Семён. – Я привёз хорошую водочку, сервелатик и буженинку. Распорядитесь, чтобы на тарелочки разложили. И присматривайте за столом, чтобы ничего не украли здешние забулдыги.

– Эх, Сёмка, Сёмка, – махнув рукой, буркнула тётя Валя. – Каким ты был, таким

и остался. Иди, проводи матушку в последний путь, трепач, – и подтолкнула его к двери.

…Вернувшись с кладбища, все остановились возле дома. Женщины тихо шептались, мельком поглядывали на Семёна и покачивали головами, обсуждая, как он, даже не попрощавшись с матерью, отошёл от могилки и, взобравшись на телегу, громко принялся всех торопить, счищая с обуви прилипшую грязь.

Семён стоял в сторонке, заложив руки за спину, и внимательно осматривал избу и постройки.

Мужики, выстроившись вдоль забора, неторопливо споласкивали руки под рукомойником, вытирали влажным вафельным полотенцем, отходили, давая очередь другим, закуривали и степенно разговаривали, ожидая, когда позовут за стол.

Стараясь не встречаться взглядом с соседями, Семён осторожно поднялся по шатким ступеням. Зашёл на веранду, аккуратно повесил промокший плащ. Осмотрел раскисшую шляпу, накинул её на гвоздь и вздохнул, что теперь придётся покупать новую. Достал расческу, зачесал реденькие волосёнки набок, прикрывая плешь, поправил галстук и воротник рубашки под пиджаком. Прошёл в заднюю избу и, остановившись, молча стал смотреть в плачущее оконце, за которым гнулись под ветром тонкие ветви сирени.

– Семён Иваныч, пожалуйте к столу, – донёсся старческий голос и, развернувшись, Семён увидел перед собой маленькую сгорбленную старушонку, одетую в кофту с латками на локтях, в длинной юбке до пола и в платке, повязанном под брови. – Проходите, садитесь во главе стола. Хозяином чувствуйте себя в избе, хозяином.

– Да, кстати, напомнили, – встрепенувшись, Семён повернулся к тётке Вале. – Супруга моя повелела разузнать, на кого мать отписала дом.

– Тьфу ты! – чертыхнулась тётя Валя и быстро перекрестилась, взглянув на иконы. – Господи, прости меня, грешную! Не успели на мазарки отвезти, а он, зараза, уже избой интересуется. Совесть бы поимели, хапуги! Эх, подкаблучник, подкаблучник… – и махнула рукой.

– Фу, какой были грубиянкой, такой и остались, Валентина Петровна, – поджав тонкие губы и нахмурив белёсые бровки, сказал Семён и торопливо прошёл в переднюю избу, продолжая бубнить. – Да уж, чую, зазря в такую даль притащился. Видать, всё братцу досталось. Обошёл, опять перепрыгнул меня, родственничек…

– Дык я всю жизнюшку прожила по совести, как и твоя мамка, а вот ты по расчёту, племяш, – донеслось ему вслед и что-то загромыхало на кухоньке. – Одно на уме – деньги. И не цепляй Сашку, не цепляй, а то ухватом да по хребтине прогуляюсь!

– Тише, Валька, угомонись, – зашептали старушки и торопливо перекрестились. – Нельзя в избе ругаться – грех…

– Уродилась же червоточина, – не обращая внимания на старух, продолжала ворчать тётка Валя. – А Тоня, царствие ей небесное, жалела его, всем говорила, будто несладко ему живётся в городе-то. Не верила, что сельчане рассказывали про Сёмку. Ага, видно, как несладко, аж рожа лоснится и рученьки белые без мозолей. Ничего, я потолкую с ним. Ох, как потолкую! Вправлю мозги, а может, остатки растеряет, ежели под горячую руку попадёт. Ишь, глаз уже на избёнку положил – клоп вонючий!

Не слушая, что говорила тётка, Семён прошёлся по передней избе. Внимательно осмотрел стол, на котором стояли тарелки с блинами, чеплашки с мёдом, кутья, гороховая и пшённая каши. Горками высился хлеб. Стояли разномастные тарелки и рюмки. А там, во главе стола, заметил буженину, нарезанную крупными кусками и толстые кружочки сервелата. «Эх, культура, растуды…» – подумал он, криво усмехнулся, отодвинул стул и, не дожидаясь остальных, уселся на скрипучую табуретку и откупорил бутылку водки. Дотянулся до рюмки, взял, посмотрел на свет и

брезгливо поморщился. Достал чистенький платочек. Дыхнул и протёр рюмку. Налил водочки, медленно выпил и причмокнул от удовольствия, чувствуя, как внутри разливается тепло.

– Семён Иваныч, сперва надо блинком помянуть, а не водочкой, – он услышал шёпот и, оглянувшись, заметил перед лицом морщинистую руку, державшую блин, с которого капал жидкий мёд. – Скушайте, мамаку помяните. Вот уже и наши мужички с бабоньками рассаживаются. Грех выпивать, но Тоня сама попросила, чтобы её вспомянули с бутылкой на столе, а не токмо блинчиками. Хорошая была твоя матушка, душевная… Берите, берите, – и опять протянула руку.

– Сам возьму, – недовольно буркнул Семён, заметив тёмную кайму под ногтями старушки. – Не беспокойтесь! – и поднялся, держа в руке полную рюмку. – Так, товарищи… – он задумался на мгновение, решая, что сказать эдакое в своей речи, чтобы всех проняло, расстегнул пиджак, чтобы все заметили цветастый импортный галстук и заколку с крупным ярким камнем, потом гонористо произнёс: – Дорогие товарищи, сегодня мы простились…

– Соседи, помянем рабу божью Антонину, – оборвав Семёна, поднялась тётка Валя, доедая блин, затем съела ложку кутьи и взяла рюмку. – Царствие ей небесное! Светлая была душа, очень светлая… – медленно выпила, поморщилась и потянулась ложкой за гороховой кашей.

Семён нахмурился. Исподлобья посмотрел на всех и, заметив, что на него даже не взглянули, а сидят и слушают тётку Валю, молча плюхнулся на скрипучую табуретку и выпил. Опять налил в рюмку, снова выпил и откусил от толстого ломтя буженины, не притрагиваясь к деревенской закуске. Семён сидел, изредка посматривая на соседей. Он не забудет, нет, как на кладбище, когда ему тоже захотелось произнести речь, на него зашикали, замахали руками и быстренько оттёрли в сторону, чтобы не мешался. Он постоял, наблюдая за всеми. Затем сплюнул и засеменил между крестами к дороге, что петляла между березками на взгорье. Забрался на телегу и, поёживаясь от холодного осеннего дождя, начал покрикивать на сельчан, чтобы шустрее шевелились – не лето, и простыть можно в такую непогодь.

Уже потом, когда мужики начали забивать крышку гроба, Семён сидел, смотрел на них и с каждым ударом по гвоздю ему становилось всё легче и легче, словно тяжёлые молотки разбивали, разрывали невидимые нити, которые связывали его с этой глухоманью, с этой деревней, где прошло детство, где над ним насмехались и частенько лупцевали, где был его дом, в котором они с братом выросли, и мать, которую он почти не видел, потому что она сутками пропадала на ферме среди коров, а вернувшись домой, сразу торопилась в сараюшку – то за овечками надо присмотреть, то коровку подоить, то навоз вывезти в детском корыте на картофельное поле. Тихая, безропотная женщина в линялом платье, с косынкой на седоватых волосах и в кофте с латками на локтях, виновато посматривала на него и, улыбнувшись, опять спешила по делам – такой он запомнил мать. На ней все ездили, все погоняли, а она слова не могла сказать в ответ, лишь отмалчивалась и всё выполняла, что ей говорили. Подрастая, Семён частенько упрекал мать, что им приходится жить в нищете, а она ласково проводила заскорузлой ладонью по его жиденьким волосам, что-то шептала, и он отдергивался, словно боялся испачкаться. Взрослея, он всё меньше с ней разговаривал, всё дальше отстранялся от неё и брата, который любил покопаться в земле да повозиться в сарае. Семён мечтал быстрее сбежать в город, где жизнь настоящая, красивая и богатая, а не то, что в этой деревне, провонявшей навозом, где корова была на первом месте, а он всегда находился на последнем…

Семён исподлобья посмотрел на соседей, которые сидели за столом, и криво, пьяненько усмехнулся. Подхватив бутылку, налил и медленно выпил. Пальцами зацепил кусок колбасы, надкусил и бросил на скатерть. Достал пачку импортных сигарет. Закурил, не обращая внимания на осуждающие взгляды, и тут же кто-то

заискивающе, с полупоклоном поставил перед ним блюдце для окурков.

– Закуривайте, – не глядя на соседа, Семён протянул пачку. – Такие сигареты сроду не сыскать в деревне. Иностранные! – хвастливо сказал он.

– Я к нашенским привык, – донеслось в ответ. – И не дело в доме смолить-то. Не барин, можешь на веранде подымить, – и Иван, сидевший рядом с ним, хрипловато хохотнул.

– Ха-а-ам, – протяжно пробурчал Семён и потянулся за бутылкой. – Все хамы, все до единого! – и махнул рукой.

И тут же почувствовал сильный тычок под столом и услышал тихий шёпот:

– Заткнись, клоп! Забыл, как я купал тебя в свинячьей жиже? Гляди, могу повторить…

Вздрогнув, Семён затравленно взглянул на крепкого Ивана и отдёрнулся, словно получил пощёчину, когда услышал про жижу. Да, эта вонючая жижа преследовала его всю жизнь, когда вспоминал про деревню, про дом и мать с братом и разозлённых пацанов-старшеклассников, которые поймали его на свинарнике, сбили с ног и начали рожей тыкать в свинячью жижу за то, что рассказал училке, будто они украли классный журнал и сожгли. И, захлёбываясь, он испуганно визжал, а пацаны матерились и продолжали купать его в вонючей глубокой луже. Жижа, от которой ему никогда не отмыться. Даже получая нагоняй от тестя или тёщи, он чувствовал себя, будто его носом в навоз тыкали, невольно или намеренно напоминая, откуда он родом.

Вскоре за столом разговорились. Все сидели, наливали полные рюмки и, морщась, выпивали. Тянулись за закусками, с шумом хлебали горячие щи и лапшу, хрумкали солёными огурцами, о чём-то говорили и опять тянулись к бутылкам. Мужики поднимались друг за другом, на ходу доставали смятые пачки сигарет и папирос и уходили на веранду подымить, потолковать за жизнь. Возвращались и опять тянулись к бутылкам и тарелкам.

Когда принесли компот и пироги, некоторые съедали по кусочку, запивая компотом из яблок и, шепнув тётке Вале, тянулись к выходу, убирая в карманы кусочки мыла, новые платочки или носки – так было принято.

Вскоре остался Семён с тёткой Валей да две старушки, которые убрали со стола грязную посуду и стали мыть её и расставлять на столе, чтобы просохла.

С хрустом откусив крепкий солёный огурчик, тётка Валя взглянула блёклыми глазами, поправила сползающий платок и сказала:

– Ну, племяш, рассказывай, как поживаешь-то в городе? Чать, хорошо устроился, ежли сюда носа не кажешь.

Медленно выцедив из рюмки, Семён пальцами ухватил кругляш сервелата, осмотрел его со всех сторон, что-то заметил, брезгливо снял соринку, сунул колбасу в рот, обтёр пальцы об полу пиджака, поднял голову, сдвинул бровки и посмотрел на тётку.

– Живу, как у Христа за пазухой, – кичливо сказал он и опять потянулся к бутылке. – У меня есть всё: квартира, машина, дача… Всё, что душа пожелает. А если нету, дык по первому звонку привезут, на коленях приползут, лишь бы мне угодить. И друзья не чета этой рвани, – он пренебрежительно кивнул в сторону, намекая на соседей, кто сидел за столом. – Постоянно приглашают на приёмы, на банкеты, в рестораны, на дачки да в баньку… У-у-у, там люди воспитанные, интеллигентные – голубая кровь! Вся одёжка импортная, парфюм тоже иностранный. Разговоры ведут про культуру да про всякие выставки и картинные галереи. В общем, моя жизнь удалася, Валентина Петровна.

– Ага, ага, – внимательно слушая, кивала головой тётка Валя. – И ты воспитанный, да? А что же ты, племяш, тилигент чёртов, рюмку держишь и пальчик оттопыриваешь, а грязные руки об одёжку вытираешь? Смотрю, водку-то хлещешь, как

последний алкаш. Так принято среди твоих друзей, да? – и, не удержавшись, хохотнула. – Выбрался из грязи в князи, а привычки-то прежние остались, клоп вонючий! – хлёстко сказала, как припечатала.

Поперхнувшись, Семён сидел, часто помаргивал и вздымал тонкие бровки, ладонью вытирал сальные губы и приглаживал волосы. Лицо сразу же покрылось бурыми помидорными пятнами. Он прищурился, глянул на тётку и взвизгнул:

– Ты, ты… Вы, Валентина Петровна, вижу, слишком остры на язычок, – хватая бутылку, Семён потянулся к рюмке. – Деревенщина! Так и будете жить среди навоза. И соседи, и ты, и мой братец…

– Не трогай Сашку! – хлопнула ладонью тётка Валя. – Что ты знаешь о нём, прыщ? Он, инвалид безногий, троих детишек один воспитывает и несколько лет из дома не выходит! Нинка, жена его, светлая память, почти пять лет, как её не стало, а он всю семью содержит. И матери помогал, от пенсии отрывал и каждый месяц присылал. Ребятишки ни разу его пьяным не видали, ни разу голос на них не поднял, не говоря про кулаки. Видел мальчишек за столом? Ох, сурьёзные ребятки! Это его сыновья приехали, чтобы с бабушкой проститься. А ты, клоп вонючий, всю жизнь для себя прожил. Даже ни одного ребёнка не имеете. Кошки да собаки у вас заместо детей растут. Вон, в зеркало посмотри. В глазах-то одни деньги мелькают. Родную мать забыл ради вольготной жизнюшки. А мы всем миром собирали копейки, чтобы её в последний путь проводить.

– Что вы понимаете в моей жизни? – взъерепенился пьяненький Семён и, чавкая, давясь большим куском буженины, прошепелявил: – Я помогал матери. Да, помогал! Деньги присылал. А, между прочим, Сашка больше меня получает. Ему государство пенсию платит да на каждого оглоеда пособие выделяет! Вот Саньке-то и должно быть стыдно. Такие деньжищи огребает, а матери, как я вижу, отправлял копейки, – и махнул рукой, показывая на убогую обстановку. – Помощничек…

– Государство платит, говоришь? – вскочив, склонилась над ним тётка Валя. – Да чтобы тем чудилам, кто придумал пенсии для калек и детские пособия, до дня своего последнего сидеть на такой зарплате! И вволю не нажрёшься, и с голодухи не дают подохнуть. А ты нашёл, чем брата корить. Эх, мелкая твоя душонка… Ты взгляни на себя, паскудник! Сам отправил три копеечных перевода за все годы, как в городе пристроился и успокоился. И ни разу не появился, ни разу не спросил, как мать поживает, какая помощь нужна брату. Их променял на богатенького тестя. Сбежал-то из деревни, как мелкий пакостник, и позабыл свой дом, а главное – родную мамку забыл!

– Да какой дом, тётка? – икнув, презрительно протянул Семён, осмотрелся, а потом заверещал, размахивая руками. – Эту развалюху? Да уж, хорошее наследство оставила мать! Даже покупателя не найдёшь, который купил бы избенку. Вы говорите, что забыл… Да я теперь плевал, харкал с высокой колокольни на вас, на этот дом, на брата, на деревню и на всё, что с вами связано! Уеду и забуду, как страшный сон. Наконец-то сброшу проклятущий камень с души. Устал выслушивать: помоги, дай, родственнички, брательник, мамка, мать… вашу мать! Понятно тебе, карга старая? – он брезгливо поморщился и рванул ворот рубашки, словно задыхался от запаха навоза.

Долго сидела тётка Валя. Молчала, глядела на племянника, о чём-то думала. Опять взглядывала и хмурилась, поправляя прядку седых волос. Затем налила водку и медленно выпила. Неторопливо поднялась. Цепко ухватила его за воротник, сдёрнула с табуретки и подтащила тщедушного Семёна к двери.

– Вон Бог, а вот порог! Живи, как твоя совесть велит, клоп вонючий, – она кивнула в сторону икон, скрюченным пальцем показала на дверь, выбросила портфель и вытолкнула Семёна – в дождь, в осеннюю слякоть, в ночь, потом вернулась к столу, размашисто, истово перекрестилась и сказала: – Господи, прости меня, что не смогла

на путь истинный наставить его, несмышлёныша! Не ведает, что в жизни творит. Хотела Сёмку вычеркнуть из памяти и не получается. Своя же кровинушка, родная. Не будет мне прощения, если его, непутёвого, забуду и оставлю одного, не будет. Помоги вытащить Сёмку из болота, куда он попал по глупости своей, пособи вернуть его к жизни, к настоящей жизни. Господи…

Тётка Валя присела на краешек скамьи. Закрыла лицо ладонями. Раскачиваясь, протяжно застонала и заплакала: тоненько, горько, со всхлипами, словно обиженный ребенок…

Два свободных дня

– Мы не рабы, рабы не мы, – громко продекламировал Шурка Антонов, размахивая рукой, и посмотрел на девчат, а потом стал спускаться с крыльца деревенского клуба. – Брак, девчонки, – это добровольное рабство, как сказала знаменитая артистка. Забыл – какая, но очень умная баба… А я не собираюсь в семейное рабство. Это вы, паучихи, сети расставляете и ждёте, когда мужики попадутся, чтобы их захомутать. Дурак попадёт, а умный, как я, к примеру, выскользнет. Вот вам, не дождётесь, чтобы я в ваши сети угодил! – и показал кукиш.

– Тю, напугал! У нас помоложе есть женихи, а ты уже старик, – наперебой заговорили девчонки на крыльце. – Вон, к бабке Лопырёвой шагай. Одна живёт. Глядишь, приголубит…

И закатились, взглянув на Шурку.

– Сами вы – старухи, – огрызнулся Шурка, закурил и зашагал по тропинке в сторону дома. – Ишь, бабка Лопыриха… Смейтесь, смейтесь, а на мой век девчат хватит. Ага…

Шурка Антонов не хотел, чтобы его захомутали. Не нагулялся, видите ли, чтобы жениться, а соседи в глаза тыкали, что пора своих детей заиметь, а он до сей поры за девочками молоденькими ухлёстывает. Его ровесники давно уж переженились и кучу детишек настрогали. А некоторые успели разбежаться и снова женились, потому что все нормальные люди создают семьи, а он, кобелина этакая, всё не может нагуляться. Мать взялась уму-разуму учить. Отец помалкивал. Сам таким был в молодости, как Шурка. Мать проходу не давала и отца попрекала, что его дурная кровь в сыне играет. Яблоко от яблони недалеко падает. И, не на шутку разойдясь, хваталась за тряпку или полотенце и тогда обоим бабникам доставалось.

И Шурка не вытерпел. С матерью разругался в тартарары, уволился с работы, собрал сумку и помчался на остановку. В город укатил.

Город закружил. По улице не пройти, глаза разбегаются, не знаешь, какая девчонка лучше. И с той хочется познакомиться, и с этой, а вон та ещё красивее, а вон у той всё есть, и такое, что сразу же хотелось прижаться, а там какая, ох, ты-ы… В общем, модели мира отдыхают.

И Шурка пустился во все тяжкие. С работы вернётся, в душ сбегает, в чистое переоденется, одеколончиком сбрызнется, а как же без него, ведь на запах все девки слетаются, как мухи на… Тьфу ты, как пчёлки на цветок. Наодеколонится и – помчался девчат с ума сводить, как говорил. В городе много мест, где можно с девчонками культурно отдохнуть и провести свободное время. И отдыхал, и проводил, и все деньги на девчат спускал, какие зарабатывал. Ребята, с кем жил в общаге, переженились, квартиры получили, а он всё женихался, всё по девочкам бегал. А за тридцать перевалило, он призадумался. А не надеть ли хомут на шею, так сказать. Ну, как сказать, надеть… Он бы ещё побегал, да нужда заставила. Девчонки стали отмахиваться. Зачем нужен старик, когда вокруг них вон сколько молодых парней крутится. И принялись отшивать его, старика тридцатилетнего…

Вот и получается, что Шурку нужда заставила жениться. Всем говорил, но особенно себя убеждал, будто надоело по общагам мотаться да всухомятку питаться, а тут подвернулась деваха. Ну, как деваха… Почти ровесница. Наверное, мужика подходящего не нашла, если до сих пор замуж не выскочила, или они мимо проскакивали. Раньше бы сам мимо неё прошёл и не заметил. Ничего особенного в ней. Маленькая, щупленькая, ни рожи, ни кожи, как он посмеивался на перекурах, зато с отдельной квартирой. Это не общага, где не успеешь чихнуть, а тебе орут, чтобы заткнулся. Но главное, что никуда бегать не придётся, своя баба под боком. Лежи на кровати да поплёвывай в потолок, а она будет ублажать. Эх, красотища!

Всё быстро закрутилось. Почти не гуляли и про любовь не говорили. Не задевали эту тему, а может, считали, что уже поздно им про любовь разговоры разговаривать – возраст не тот, и желания не было, а может, думали, что они – эти чувства, лишние в жизни. Два-три раза в кино сходили, потом в кафе сидели, чаёк пили или кофе брали с булочками, поговорят ни о чём, и Шурка идёт провожать.

В основном, он говорил. В деревне-то болтуном прозвали. Наверное, про него было сказано, что боженька язык семерым нёс, а одному достался. Так и получилось. А Шурка говорил, что язык дан для того, чтобы им молоть. И молол. Всякую ерунду городил. И так увлечённо врал, да ещё с серьёзным видом, что все верили. А бывало, сам начинал верить в то, что придумывал. А уж придумывать был горазд…

Шурка ни разу не был в деревне, как оттуда смотался. Форс держит, отец говорил, а мать, бывало, подхватится, в сумки натолкает всяко-разных продуктов и тащится в город. Жалко его, всё же сыночек. А возвращалась, всем жаловалась, как Шурка плохо живёт. Голодует. С хлеба на воду перебивается. Исхудал, кожа да кости остались. И личико-то всего с ладошку, говорила она и вытягивала свою ладонь, будто показывала, а потом показывала, каким Шурка раньше был, и раздвигала руки в стороны, словно хотела обнять необъятное. И опять начинает жаловаться, мол, как же Шурка рожу наест, если в общаге живёт. Там сколько оглоедов обитает – ужас! Не успеет на кухне поставить картошку или супчик, уже кастрюльку своровали. Не успеет чайник вскипятить, тоже спёрли. В столовую не набегаешься – это ж сколько денег нужно, чтобы прокормиться. Столько добрые люди не зарабатывают. Горестно покачивала головой и снова ругала общагу. Куда же милиция смотрит? Вор на воре сидит и вором погоняет – это она про общежитие говорила.

А когда узнала, что сын собрался жениться – не поверила, а следом обрадовалась. Помчалась по деревне новость рассказывать. А потом в город отправилась, сына проведать и на будущую сноху посмотреть. Ну и что, что некрасивая, так с лица не воду пить, всё повторяла сыну. Главное, что баба рядышком будет, которая есть-пить приготовит, но самое главное – это квартира, а не твоя общага, где ни днём, ни ночью покоя нет. И тыкала пальцем.

Свадьбу решили скромно сыграть. Валентина в первый же день знакомства с будущей свекровью заявила ей, что нечего деньгами сорить. Нечего добро на навоз переводить, всех не накормишь и не напоишь, а то слишком много желающих на дармовщинку набирается, сказала она, взглянув на длинный список гостей, который привезла мать из деревни, а Шурка добавил в него своих друзей. И одним махом вычеркнула почти всех, оставив одних родителей и свидетелей, и всё на этом.

– Правильно говоришь, дочка, правильно, – повздыхав, закивала Шуркина мать. – На всех не угодишь и никого не удивишь. Хотя в деревне принято гулять, ну, если нельзя, значит, так тому и быть, – и повернулась к сыну. – А ты, Шурка, слушай, что жена говорит. Плохого не посоветует. О как!

И ткнула корявым пальцем вверх.

– Так это… – неопределённо взмахнул рукой Шурка. – А как же эти?

Наверное, на остальных гостей намекал.

– Обойдутся, – сказала, как отрезала, Валентина и меленько порвала список

гостей. – Потом к ним съездим. Сами навестим. Может быть, когда-нибудь…

Свадьбу сделали у Валентины. Она наотрез отказалась гулять в кафе или ресторане. Пустая трата денег и воровство продуктов, следом поддакнула тёща. А тёща знала всё или почти всё, потому что работала не то бухгалтером, не то экономистом, а сейчас собиралась уходить на заслуженный отдых. Сейчас же, сразу после свадьбы…

– Твоя правда, сваха, – закивала головой Шуркина мать. – Нечего транжирить деньги. Молодым ещё пригодятся. Только жить начинают.

И погладила Шурку по заметной лысине.

– Вы бы помогали молодым, – сказала тёща. – Всё же в деревне живёте. Продукты свои, не покупные. К примеру, сальце или мясцо, сметанка с маслицем, гусятинка с курятинкой, здесь мешок-другой картошки да ещё каких-нибудь фрукто-ягод-овощей, и они будут сыты, и денежки целы.

– Конечно, поможем, – закивала Шуркина мать. – Всё ж своя кровинка. Как же без помощи-то? Нельзя!

– Вот и ладушки, – сразу заворковала сваха. – Я бы помогла, да нечем. На производстве работала. На мне такая ответственность была, и сказать страшно…

Замолчала, многозначительно поджала губы, округлила глаза и закачала головой.

Свадьба прошла тихо и неприметно. Посидели за столом, выпили. Отец успел до свадьбы назюзюкаться, пока до города добирались, а за столом приложился к рюмашке и на душе совсем захорошело. На частушки потянуло. Какая ж свадьба да без матерных частушек?! Вскочил, притопнул ногой, матерно заголосил, но тут же рухнул на стул и замолчал, когда жена пнула его по ноге и рванула за пиджак, сажая на место, а потом ещё сунула локтем под столом.

– Неудобно же перед новой роднёй, охламон! Они, вон, какие умные да интеллигентные, а у нас восьмилетка на двоих и ничего более. Глянь, они про театры и выставки разговаривают, а ты лезешь со своими похабными частушками, бесстыдник! Мы как были деревней, так для них и останемся, а они-то – ого-го! – зашептала жена, косясь в сторону свахи. – Взять нашу сваху, к примеру, она же была ответственной экономисткой на важном производстве! Господи, слова-то какие…

И неопределённо покрутила рукой в воздухе.

После свадьбы гости стали разъезжаться. Мать целовала сноху, доченькой называла, к себе зазывала, но Валентина отмахивалась. И времени нету, и далеко добираться. Лучше вы к нам. На том и разъехались.

– Слышь, Валька, а тёща не собирается уезжать? – спустя неделю сказал Шурка, укладываясь спать. – Все умотали, а она как в своей квартире хозяйничает. По всему дивану расползлась в зале, даже телевизор не посмотришь. А сунешься, рычит, что загораживаю, или ей места мало на диване. А мне что, на полу сидеть прикажете? В холодильник загляну, она блажит на всю квартиру, будто у неё последний кусок отнял.

– Ты мою мамку не тронь, – сказала щупленькая Валька и погрозила пальчиком. – Она будет жить с нами. Я так решила и… мамка. Пенсию оформила по вредности. Что одной-то прозябать в другом городе. Посидели с ней, подумали и решили, что останется с нами. Не так скучно мамке будет, да и мне помощь в доме, всё же замуж вышла, всё ж мужик в семье появился. Забот полон рот.

И поджала тонкие губы.

Шурка чуть с кровати не грохнулся, когда новость услышал. Ну, ничего себе подарочек на свадьбу! Тёща за эти дни как собака надоела, везде свой нос совала, словно сторожевой пёс, того и гляди, свечку в руки возьмёт и ночью встанет возле кровати, а что будет, если вместе начнут жить? Обиделся Шурка. Отвернулся от жены, засопел, уткнувшись лбом в холодную стенку. Но Валька согрела его. Долго

успокаивала, пока он не оттаял.

И началась семейная жизнь. Шурке ультиматум выдвинули. Заработанные деньги просто обязан отдавать жене, потому что жена – это три в одном: кассир, бухгалтер и экономист. Все до копеечки будет отдавать. Шурка было заикнулся про карманные расходы, а ему кукиш показали. Никаких карманных денег! Строгий учёт деньгам. Копейка рубль бережёт, – сказала тёща, а жена выгребла из кармана всю оставшуюся мелочь.

– А, это… – он поводил руками и привычно соврал, чтобы хоть немного выпросить на карманные расходы. – Вальк, на работе сказали, что нужно деньги сдать на помощь африканским странам. Голодают они, пухнут. Дай, а?

И застыл с протянутой рукой.

– Там вечное лето, – сказала Валентина. – Они три урожая в год собирают. А ещё у них бананы растут на деревьях и булочки, и ещё что-то… которые мы покупаем в африканских странах за огромные деньги. Обойдутся! Это они нам должны помогать, а мы им – вот! И тебе – вот!

И показала два кукиша.

Шурка завздыхал. Нет, не о такой жизни он мечтал. Он думал, раз женился, значит, жена обязана ублажать его, как в фильмах показывают. Всё-таки мужик – это глава семейства и его слово – закон, и никак иначе. А получается, что теперь будет жить намного хуже, чем в родной общаге? Вот тебе и женился…

И началась строжайшая экономия. Шурка забыл, что такое посидеть в кафе или заскочить в забегаловку и пропустить пару кружек пива, а мысли про девчат вообще из головы выбросил. Даже пить стал меньше. Можно сказать, почти бросил. Нет, не то, что совсем бросил, а местами. На свои деньги бросил – это точно, но если отправлялись в гости и там наливали, он не отказывался. Наоборот, навёрстывал упущенное за время семейной жизни. В общем, при каждом удобном случае, которые выпадали не так часто, но всё же выпадали, он напивался в зюзю. А напивался, начинал кочевряжиться перед женой и тёщей, пока его не загоняли спать, а наутро плешь проедали, вспоминая вчерашнее, и от себя приплетали, что было и чего не было. Да лучше бы отлупили, чем вдвоём над душой стоять, вздыхал Шурка. И так до следующих гостей. К себе не звали, а к другим ходили, и там Шурка отводил душу, а наутро ждала головомойка. Ворчал, сопел и кряхтел, когда получал эту головомойку, но всякий раз, когда приходил на работу, хвастался, какая у него жена хорошая.

– А что вы, мужики, своих баб хаете? – пренебрежительно махал рукой Шурка. – Всё не так, всё не эдак. А для чего женились, если грязью обливаете? Сами же таких выбирали, – и тут же стучал по впалой груди. – А вот моя Валька – такую бабу нужно поискать. Да-а… Сразу скажу, что днём с огнём не найдёте. Ага… С работы вернусь, она возле меня крутится. Пока раздеваюсь и умываюсь, на стол соберёт. Глядишь, рюмашку-другую нальёт для аппетиту, меня накормит-напоит, а потом приласкает, – и жмурился. – Не жена, а золото! Ни разу не пожалел, что женился. А вы только умеете, что своих баб дерьмом мазать. Ага… – и повторил: – А моя Валька – золото! И тёща такая же. Да-а-а…

Вздохнёт задумчиво, причмокнет и качает головой, а может, и сам начинал верить в свою болтовню, а возможно, мечтал, чтобы его бабы, как называл жену и тёщу, были такими, какими себе представлял в своих мечтаниях.

Правда, мать, когда бывала в гостях, возвращаясь в деревню, качала головой, что сыночек весь исхудал, потому что днюет и ночует на работе. А как не исхудать, ежели круглые сутки работает. Семью нужно содержать.

Да, семью содержать – это тяжело, а когда ещё вместе с тёщей живёшь – это вдвойне или втройне… нет, многократно тяжелее, потому что у неё запросов больше, чем у родной жены. И никуда не денешься, нужно выполнять, потому что она – мама,

и этим всё сказано. Тёща заставила его на другую работу перейти. Видите ли, мало зарабатывает, а мужик просто обязан содержать жену и её любимую мамочку, потому что они неразрывно связаны – мама и дочка. Шурка попыхтел, повозмущался, но устроился станочником. В отделе кадров сказали, что будет неплохие деньги зарабатывать, а ещё в цеху или цехе… он уж не помнил, лесом пахнет, словно в тайге на свежем воздухе работаешь. Ага, пахнет... С первого дня Шурка стал пластаться на работе, тягая неподъёмные доски на станки. Цех преогромный! И станков тьма-тьмущая. Куда ни глянь, везде станки стоят и возле них люди, как муравьи, бегают. В одни ворота доски завозят в цех, а на другом конце уже готовые изделия на машины укладывают и отправляют по всей стране и всему огромному миру. И шум такой был, аж уши закладывало. Шурка наорётся за день возле станков, домой придет,… нет, почти приползёт, а разговаривать силушки нет. Не успеет поужинать, глядишь, приткнулся в уголке и уже сопит, слюни на воротник пускает. Умаялся. Уснул. А утром опять на работу. И снова весь день доски тягает. Вымотался. Кожа да кости остались. Штаны на ходу слетали. Зато тёща раздобрела. Широкая стала, многоскладочная… И жена поправилась. Казалось, даже чуточку подросла, да и вообще… Правда, тёща и жена лучше не стали от этой хорошей жизни, а наоборот. Чем лучше зажили, тем больше появилось запросов. И то нужно купить, и это, а ещё в магазины заглянуть, какую-нибудь одежду подобрать, а то старая почему-то не налезает. И принимались обсуждать, в каком магазине и что продают, какая блузка к глазам подойдёт, а кофточка к волосам или маникюру, сумочки к носовым платкам подбирали, а потом решали, к кому бы на выходные в гости съездить и обновками похвастаться, а к кому в отпуск податься – это уже дальние планы составлялись. Правда, при этом Шурку забывали. Как был в старых штанах и ботинках, так до сих пор в них и ходил. А что было из новой одежды, так некуда её носить. Весь в работе, весь в заботах. Семью содержать – это слишком тяжело. Ага…

Шурка вздыхал, поглядывая на них. Уж не раз в мыслях жалел, что женился. Да лучше бы один жил или, в крайнем случае, в деревню умотал. А потом задумывался. А разве одному лучше, – размышлял Шурка. Опять в общагу возвращаться, откуда едва вырвался, его не тянуло. Может, годы не те, чтобы там жить. Общежитие – общее житие, можно сказать, где всё, что успел нажить непосильным трудом, – это становится общим. А ему хотелось спокойной жизни. Чтобы вернуться домой, прилечь на диване или на кровати, взять газетку и почитать на сон грядущий, или какую-нибудь передачу посмотреть, а рядышком баба, да такая, чтобы ух, прям как даже, а ещё ребятишки бегают… Шурка вздохнул. Опять жениться? Нет уж, одного раза хватило! А в деревню вернуться, кому он нужен там? Снова в клубе штаны протирать, который чаще закрыт, чем работает, а в свободное время в бутылку заглядывать. Так и спиться недолго. Правду сказать, давненько не был в деревне. Думал, вот женится, и начнут туда ездить. Ага, начали… Вальке, как всегда, некогда и не на кого мать оставить. То у неё простуда, то необъятный живот болит, как бы не аппендикс (лучше бы жрала поменьше, зараза), то радикулит проклятый замучил (правильно, в колобка превратилась, никакие ноги не удержат), то бессонница (днём нужно поменьше дрыхнуть), то ещё какая-нибудь болячка появится… В общем, самая больная тёща в городе, в стране, в мире и его окрестностях. А одного Шурку не отпускали в деревню. Из доверия вышел…

– Знаю тебя, – сразу заводилась Валентина, едва он заикался про деревню. – Не успеешь из дома выйти, начнёшь башкой крутить во все стороны. Ни одну юбку мимо себя не пропустишь. А до деревни доберёшься, так ещё неизвестно, дойдёшь до родного дома или напьёшься со своими дружками, а потом по бабам побежишь. Там же ни одной путной девки не осталось, а про мужиков и говорить не хочется. Алкаш на алкаше и алкашом погоняет, а ты ещё и бабник к тому же. Вот и скажи мне, дорогой, под каким кустом или в каком сарае тебя искать, если поедешь в де-

ревню, а?

И, уперев руки в располневшие бока, с прищуром взглядывала на Шурку.

– Так это… – он пожал плечами. – Мимо дома не пройду. Какие бабы, о чём ты болтаешь? – он возмутился. – С работы прихожу, едва ноги волоку. Здесь бы с тобой справиться, а ты про других баб говоришь. Тебе не угодишь!

И отвернулся, оскорблённый.

– Чёрного кобеля не отмоешь добела. На других шалав всегда сила найдётся, – повысила голос Валентина, а тёща поддакнула на диване. – Вспомни, как после свадьбы съездили. Ну, когда я застукала тебя с девкой в сарае. Помнишь? С той самой поры не отпускаю в деревню, потому что ты вышел из доверия. Целиком и полностью! Дома сиди. Никакой деревни тебе не видать. Свинья везде грязь найдёт.

Наверное, это касалось как девок, так и дружков по пьянке.

– Так это… – он развёл руками и взъерошил всклокоченные волосы. – Так это… Я ж говорил, что она приходила за картошкой…

– В сарай и за картошкой? – Валентина упёрла руки в бока. – Откуда она взялась в сарае-то – эта картошка, да ещё в тёмном уголочке, если погреб на другом конце двора находится? Бабник, как есть – бабник, и алкаш в том числе!

И она ткнула пальцем.

– Правду говоришь, дочка, правду, – раздался тёщин голос. – Все мужики – сволочи. Всех нужно держать на коротком поводке. Бабники, да ещё какие!

Шурка промолчал, но всё же решил, что при удобном случае он отправится в деревню. Домой тянуло...

А вскоре такой случай представился. В выходной, едва рассвело, тёща подхватилась. Они собрались навестить тётушку в соседнем городе. Тётушка была старенькая, но богатая, и наследники не давали ей покоя. Проведывали, заботясь о её здоровье. Привозили гостинчики, которые сами же и съедали за чашкой чая, а к чаю было всё, что привезли и даже больше, что ещё смогли найти в тётушкином холодильнике. И каждый наследник изображал из себя самого больного, самого бедного из всех живущих людей, пытаясь разжалобить тётку, чтобы она отписала на него долю – это самое малое, а лучше, если всё отдаст, а они обязуются до последнего её дня носить тётушку на руках. А как не носить, – рассуждали они, – если у неё и ковры, и хрусталь, и всякие сервизы, а про картины и всякий там антиквариат говорить нечего – любой музей позавидует, а уж сколько денег да золота с брильянтами у неё – про это говорилось шёпотом и всегда с оглядкой. После каждой поездки к этой богатой тётушке жена с тёщей отставали от Шурика недели на две-три, потому что всё это время они вспоминали и мечтали о том, что сделают, если им достанется наследство. Мечты были грандиозные. Покупка кооперативной квартиры – это всего лишь маленькая часть мечтаний, а там следуют машины, дачи и домик на самом берегу моря и ещё что-то, и ещё… А потом, когда уставали мечтать, они возвращались в реальный мир и снова брались за Шурика. Нет, не то, чтобы измывались над бедняжкой, а просто учили уму-разуму. Свой-то муж у тёщи давно сбежал, потом ещё было несколько так называемых мужей, но и они недолго продержались. Кто-то со скандалом уходил, оставляя всё нажитое добро, а некоторые потихонечку уходили, по-английски, так сказать. Утром уйдёт на работу и исчезает, лишь записку приносят от него, мол, дорогая, так больше не могу жить, я ухожу, и меня не ищи, а все вещи можешь оставить себе. Много было мужей, а сколько – тёща не помнила. А после свадьбы доченьки она взялась устраивать её личную жизнь, потому что у неё был преогромный опыт с мужьями, и она знала, что им нужно, а что не нужно, но всегда при этом добавляла, что этих сволочей, мужиков, необходимо держать в ежовых рукавицах, а ежели дашь слабину, они стараются выскользнуть на свободу и тогда… И тогда тёща с доченькой взялись за Шурика, чтобы он не вырвался на волю.

Едва за ними закрывалась дверь, когда они уезжали к любимой тётушке, Шурик

бежал к окну. Стоял, скрывшись за портьерой, наблюдая, как жена и тёща торопились на вокзал. Дожидался, когда они скроются за углом, и принимался наводить ревизию в квартире, доставая спрятанные заначки. Мчался в ближайший магазин и покупал бутылку, а то и две, водки или вина – это зависело от объёма заначки, да ещё хорошенькую закуску прихватывал. Ну, балычок там, сервелатик и прочие деликатесы. Возвращался и устраивал праздник для души, зная, что тёща и жена появятся лишь на следующий день к вечеру.

Так и в этот раз получилось. Шурка вытянул худую шею, затаил дыхание и прислонился ухом к двери, прислушиваясь к нежному тёщиному воркованию и неторопливым шагам на лестнице, на цыпочках подбежал к окну, посматривая из-за занавески, как тёща, словно колобок, катилась по тротуару, а следом семенила его жена. Вот они свернули за угол и исчезли. Всё, укатили! Шурка издал громкий протяжный возглас, но тут же опять выглянул, а вдруг они услышали или что-нибудь забыли и сейчас вернутся, но на улице было тихо. Приплясывая, Шурка подождал несколько минут и кинулся в ванную. Там, под потолком, в вентиляционной трубе лежала его заначка в консервной банке. Жена не догадывалась, что Шурка давно готовился к празднику души. По копеечке, по полтинничку, по рублику откладывал и довольно-таки хорошую стопочку скопил, а мелочи – это без счёта, как казалось. И сейчас… Он зажмурился, предвкушая, что сейчас будет.

Первым делом он собрался в магазин. Оделся. Взглянул в зеркало и не узнал себя. Был худоба, а теперь вообще тень осталась. Кожа да кости. Постоял, поморщился, почёсывая небритую щеку. Да уж, покажись в деревне, и никто не узнает. Лет пять не был, а может, и поболее того. Шурка наморщил лоб, вспоминая, когда была свадьба, и удивлённо пожал плечами. А ведь он забыл, когда женились. И тут же вздёрнул клочкастые брови. А что тут удивительного, если счёт дням потерял из-за этой проклятущей работы. Не успеет глаза продрать, торопится на работу. Весь день доски тягает, аж в глазах темно становится, а домой вернётся, чуть ли не с ложкой засыпал за столом. Прислонится к стенке и уже засопел. А в выходные бегал на шабашки. Кому-нибудь крышу подлатать, другим перегородку поставить, а третьему окна заменить. Какая-никакая, а копеечка в дом, как жена говорила. Ладно, немного прятал в заначку, а если не успевал, жена быстро находила, и тогда у неё не допросишься. Что в руки жены попало, то пропало. Закрутился с этой работой и правда забыл, когда женился.

Шурка вздохнул. Взглянув ещё раз в зеркало, он тихонечко вышел на площадку, прислушиваясь к голосам. Лишь бы соседи не заметили, а то быстро жене доложат, что он куда-то уходил. Столько наплетут, что не разгребёшь. Всех соседей предупредила, чтобы за ним присматривали. Шурка постоял, прислушиваясь, потом стал спускаться. Выглянул из подъезда. И быстрее за угол скользнул. А там до магазина рукой подать.

И вернулся так же. Покурил, посматривая на пустой двор. Прошмыгнул в подъезд и взлетел на свой этаж. Щёлкнул замок, и Шурка прислонился к стене. Хоть в шпионы подавайся. Никто не заметил, что он сбегал в магазин и вернулся, держа в руках свёртки и кулёчки, а из карманов торчали горлышки бутылок. Всё, душой и телом к празднику готов!

Шурка разделся. Включил музыку. Пугачиха голосила. Хорошо поёт, зараза, и сама неплоха с виду. Вот такую бы жену, завздыхал Шурка и полез в шкафчик. Поставил тарелки на стол. Рядышком хрустальную рюмку. Водку заранее сунул в морозилку. Уважал охлаждённую. Потирая руки, тоненько нарезал колбаску, возле неё улёгся веером сыр в дырках. Он любил красиво покушать, как про себя думал. Фальшиво засвистел, доставая из холодильника банку с огурцами. Один накромсал кругляшами, а второй распустил на четвертинки, а в серединке краснеют помидоры. Рядышком чёрный хлеб. Селёдка в селёдочнице с лучком и маслицем. Какая ж водка

да без селёдочки?! А запах… Шурка покачал головой. Оглядел стол. Нахмурился. Может, картошечку сварить в мундирах или очищенную, а потом махнул рукой – и так сойдёт. Не выдержал. Душа заждалась праздника. Плеснул водочки. Поднял запотевшую хрустальную рюмку. Звучно сглотнул. И торопливо опрокинул. Соскучился. Отломил корочку черняшки. Занюхал. Передёрнул худыми плечами. И блаженно прикрыл глаза. Но тут же опять налил в рюмку и уже неторопливо, поглядев на неё на свет, выпил. И опять застыл, закрыв глаза. Выдохнул. Господи, хорошо-то как! И принялся уничтожать всё, что было на столе. Нет, он не торопился, потому что у него впереди было почти два дня свободы, а это – целая вечность. Чуточку плеснёт в рюмку. Выпьет. Подцепит вилкой огурчик или селёдочку и смакует, причмокивает, а сам жмурится, покачивая головой. Вкуснотища-то какая!

Закурил. Дома не разрешали курить. В подъезд выгоняли или на балкон, а когда жены и тёщи не было дома, тогда курил, где хотел, потому что – хозяин. И сейчас закурил. Прошёлся по квартире. Постоял возле фотографии тёщи, покачиваясь с пятки на носок. И не удержался. Смачно плюнул и тут же оглянулся, словно его поймали на месте преступления и рукавом протёр рамку со стеклом. Да ну её – эту дурочку! Развизжится, если увидит следы, и не остановишь. И снова не удержался. Сначала язык показал, а потом сделал кукиш и ткнул под нос тёще.

– На-ка, выкуси! – сказал он язвительно и снова ткнул. – Вот тебе, вот… Чем пахнет, а? И тебе – вот, – он сунул кукиш в соседнюю фотографию, на которой была жена. – Ищь, спелись! Думали, что справились со мной?! Не дождётесь! – он пьяненько погрозил пальцем. – Я не тот человек, чтобы надо мной всякие там изгалялись. Я – как тот вулкан: когда раскалённая лава наберётся до краёв, начинается извержение. И тогда берегитесь. Ох, отыграюсь! В пух и прах разнесу всех, и тебя – тоже. – И ткнул пальцем прямо в глаз тёще.

Шурка смелел на глазах. Бывало, когда выпивал, он становился смелым и грозил всеми земными и небесными карами. И тогда сам себе казался грозным и неприступным. Он выпячивал худую грудь, поигрывал мышцами на тонких руках и рычал, рычал… И ему казалось, что его боятся все, в том числе тёща с женой. И Шурка гордо оглядывался по сторонам, словно хотел показать всему миру, какой он смелый. Но никого не было. Он был один в пустой квартире.

Выпил ещё рюмку. Закурил. Постоял возле окна. Деревня вспомнилась. Сразу на душе стало тоскливо. Давно не был. Что-то мать не приезжает. А батя вообще ни разу не был после свадьбы. И он разок съездил и всё на этом. Валька перестала его пускать, когда с соседкой заловила в сарае. Его не пускает, а сама тем более не ездит. Шурка пригорюнился. Сколько лет уж не был. Наверное, его давно позабыли, да и сам уж некоторых не помнит. А раньше-то как хорошо было, когда в деревне жил. Река рядышком. Рыбы немеряно, а грибов и ягод столько, хоть косой коси. Каждый год с отцом заготавливали, а потом мать готовила соления-варения. Столько делала, на весь год хватало и ещё оставалось. А трава какая густая – страсть. И запах, аж голова кругом идёт. Они с батей с косами на плечах отправлялись на сенокос. Мать не успевала за ними. А вечером возле костра сидели. Запах картошки, свежескошенной травы и влажной земли, а как соловьи заливались… И Шурка, забывшись, попытался выдавить из себя соловьиную трель. Не получилось. И он поник, плечики опустились, завздыхал. В деревню бы…

– В деревню бы… – пробормотал Шурка, а потом встрепенулся. – А почему бы не съездить? Тёща и жена завтра вернутся. Ближе к ночи появятся. У меня же уйма времени!

Он представил, как приедет в деревню. С форсом пройдётся по ней. Пусть посмотрят на него. Позавидуют, как в городе устроился. Будут говорить за спиной, что в люди выбился, что живёт – не чета им. А что, и правда, что живёт получше некоторых. И квартира есть, и работа, и деньги неплохие зарабатывает. Пусть тяжело,

пусть устаёт, но всё же работает – это главное. И сейчас, если приедет в деревню, не станет по друзьям бегать. Может быть, не станет… А придёт домой, распахнёт дверь и крикнет с порога: – «Ну, здравствуйте, родители! Я приехал». Мать, конечно, заплачет, а потом начнёт обниматься. А батя будет хмуриться и ус покручивать, а потом ткнёт руку, как бы здоровается, и всё это молчком. Форс держит, а по лицу видно, радуется. Посидят за столом, как принято с дороги. Какие-никакие дела поделают. В деревне всегда найдётся работа. А вечерком в баню пойдут. Попарятся с батей. До одури будут хлестаться веничком! Так, чтобы уши в трубочку сворачивались, а потом выскочат голышом и бегом до речки и с обрыва – бултых! Только брызги во все стороны разлетятся. И снова в парилку. И опять возьмутся за веники. И так несколько заходов, а потом, едва живые, будут отдыхиваться на крыльце. За столом посидят. Повечеряют. Конечно же, бутылку поставят. А как же! Сын приехал. Опрокинут по рюмашке-две за встречу. И весь вечер будут пить чай с печеньками и конфетками, да ещё с вареньем. Мамка-то мастерица варить его. А потом выйдут на крыльцо и долго будут сидеть. Отец засмолит свои папироски. Мать нахмурится и начнёт рукой разгонять дым. Заворчит, чтобы меньше курили, а то можно топор вешать. Может, соседи зайдут. Тогда начнётся долгий и неспешный разговор. Вроде бы, ни о чём разговор, а в то же время – обо всём. О жизни – тоже. Шурка не станет языком молоть, как всегда бывало, а будет сидеть и слушать всех, изредка отвечать на вопросы, ещё реже сам говорить. А больше слушать, смотреть и радоваться, что приехал домой, повидал мать и отца, а теперь сидит с ними и на душе радость, и не станет вспоминать, что на следующий день нужно возвращаться в город, потому что два дня, вроде бы, мало, но в то же время – это целая вечность…

И Шурка забегал по квартире. Сначала убрал со стола. Не то, что боялся, а так, на всякий случай. Потом стал искать одежду, в какой не стыдно показаться в деревне. Всё же давненько не был. Пусть люди подумают, что он хорошо… нет, даже лучше всех живёт. Ага, точно – лучше всех! И принялся копаться в шкафах, вытаскивая, примеряя и снова убирая свою одежду. Хотя у него и одежды было – кот наплакал. А куда ходить-то? Поэтому не покупали. Экономили. На работе дневал и ночевал, по шабашкам мотался. А редкие дни, когда их звали в гости, жена старалась одна сходить. Иначе Шурка бы напился в стельку. Не хотела позориться, как она говорила, и уходила одна. Ну и пусть! Шурка махнул рукой. Всю одежду переворошил. Ничего сногсшибательного не обнаружил.

Джинсы, рубаха, куртка. Хотя… он оглянулся и достал пёстрый галстук. Потом взял с полки шляпу. Это жена купила. Сказала, так представительнее смотрится, чем в простой кепке. Ага, ещё солнцезащитные очки. Хорошая вещь, удобная. Прикрыл ими глаза, и никто не заметит, куда смотришь, да и вид посерьёзнее будет. Какой-то таинственный, что ли, – этот вид, да ещё лицо серьёзное сделать, улыбку убрать. Нечего щериться. Чем солиднее вид, тем больше уважения. Ага…

И вот он уже на вокзал торопится. В джинсах, в рубашке с пёстрым галстуком, в шляпе и тёмных очках, в руке сумка, в ней гостинцы. Пока дома искал одежду, наткнулся на стопочку денег. Это Валька накопила. Видать, что-то решила купить. Наверное, для себя или тёщи, а ему, как обычно, – шиш с маслом. Нет, даже без масла. Просто – огромный кукиш во всю рожу. Не заслужил, как сказала бы тёща. И Шурка, подвыпив, осмелел. Расположил стопочку, потому что имел полное право, как он считал, и поехал в деревню. В магазине понабрал всякой всячины – это для мамки и для соседей, чтобы пыль в глаза пустить. Ну, а для себя и бати – три бутылки дорогой водки и блок сигарет с фильтром – это для форсу, как сказал бы отец. Он привык курить папироски. Да и Шурка смолил «Приму», дёшево, но сердито, а «Интер» взял, чтобы перед дружками похвастаться. Что ни говори, а жизнь в городе в любом случае лучше покажется, чем в деревне, где приходится горбатиться с утра и до ночи. Да, в городе жить лучше, и зарплата повыше, а уж всякие магазины да развлечения

– это без счёта. На любой вкус, цвет и кошелёк…

И вот, едва автобус остановился и распахнул дверки, Шурка вышел. Автобус заскрипел рессорами и, громыхая расхлябанными дверками, двинулся в соседнюю деревню. Шурка посмотрел вслед. Потом взглянул на пологие холмы, сплошь заросшие лесом, а там речка петляет между ними, вон ветлы виднеются и черёмуховые заросли, и огороды спускаются к реке, а вон дома видны, и крыши у всех разные, возле каждого двора палисадники. И отовсюду запах земли и скошенной повядшей травы… Шурка прерывисто вздохнул. Господи, как хорошо на душе-то! Господи, как тут вольно дышится! Наверное, это и есть настоящая свобода. Свобода от всего, что человека окружает в жизни, а прежде всего свобода от самого себя, потому что только ты сам себя загоняешь в непроходимое вонючее болото, откуда, как казалось, никогда не выбраться…

Шурка завздыхал. На душе чувствовалась радость. Вот он, прикатил! Душа радуется, аж поёт. И хотелось раскинуть руки и громко закричать, чтобы все услышали – «Вот я, приехал, люди!» Но Шурка не закричал. Ему нужно было форс держать. Потоптался, осматриваясь по сторонам. Потом надвинул шляпу на глаза, поправил тёмные очки, провёл ладонью по лицу, словно стирая с него улыбку, сделал серьёзную и неприступную мину, поправил узкий пёстрый галстук, курточку повесил через руку, а в другую руку взял сумку и неспешно зашагал по улице.

Он неторопливо шагал по улице. Изредка останавливался, если кто-то по дороге встречался. Нет, не разговаривал. Он доставал пачку сигарет, прикуривал, важно кивал головой, изредка приподнимал шляпу, как бы здороваясь, и шёл дальше, попыхивая сигареткой, а люди смотрели ему вслед и не могли признать, кто же это был в тёмных очках, да ещё такой важный из себя и в галстуке. Не иначе, с району прикатил. Какой-нибудь лектор, а может, и начальство прибыло, кто его разберёт. Вон как важно вышагивает, словно аршин проглотил! И тыкали вслед пальцами, и шептались за спиной.

А Шурка шагал, с гордостью выпячивая впалую грудь. Он словно спиной чуял, что ему вслед смотрят и обсуждают. Наверное, гадают, кто такой серьёзный прикатил, да ещё в шляпе. Наверное, правду говорят, что всё дело в шляпе. По ней встречают, а провожают…

– Здравствуй, дед Макарий, – Шурка не удержался, чуть приостановился и приподнял шляпу, здороваясь со стариком, который сидел возле двора. – Как поживаете, дедушка?

Старик прищурился. Приложил ладонь к глазам, всматриваясь, а потом покачал головой.

– Не признал, – развёл руками старик. – Извиняй! Чать, по делам приехали, да? Так никого же нет в конторе. Выходной, говорят, а бригадир уехал в поле. И контора-то в другой стороне.

И ткнул пальцем, показывая.

– Это ж я, Шурка, – сказал довольный Шурка и снял очки, а потом снова надвинул на нос и повторил: – Шурка Антонов… Сын дядь Пети и тётки Марьи Антонихи.

– И правда Шурка, – закачал головой старик. – Глянь, какой важный стал. Не иначе, начальником заделался! В галстуке да в шляпе. Ни за что бы ни признал, если бы не окликнул. Глянь, что город с человеком делает! В люди вышел. А мы, как жили в навозе, так и помрём в нём же.

И махнул рукой.

Едва Шурка стал подходить к магазину, как распахнулась дверь, и на улицу вышел мужичок, одетый в замасленные штаны с пузырями на коленях, такая же куртка, из-под которой была видна серая когда-то, а сейчас непонятно какого цвета рубаха с грязным воротником. Он вышел. Закурил, укрываясь от ветерка. Шагнул было на тропинку, а потом остановился и с недоумением долго всматривался в при-

ближающего Шурку.

– Антоха, ты, что ли? – так в деревне прозывали Шурку. – Гляжу, гляжу, вроде наш, а в то же время чужой, как показалось, – и опять сказал: – Ты, что ль, Саня?

– Здоров был, Киря, – тоже, как в далёком детстве, назвал Шурка своего дружка. – Я приехал. Давненько не был. Красота-то какая!

И обвёл рукой окоём.

– Фу ты, ну ты! – Кирилл покачал головой. – Прям начальник, да и только! – повторил за стариком: – Глянь, что город с людьми делает! Стал каким-то таким…

И неопределённо покрутил в воздухе рукой.

– А ты как был грязнулей, так и остался, – ткнул пальцем Шурка. – Наверное, ни разу не снимал, как на работе выдали. Всё та же, как мне кажется. Хоть бы постирал, а то скоро переломится от грязи.

И хохотнул, но тут же стёр улыбку с лица и сделал серьёзную мину.

– Что болтаешь – грязнуля?! Баба каждую неделю стирает, – похлопал по спецовке Кирилл. – У меня такая работа. Это у вас в городе каждый год, а бывает, почти каждый месяц дают спецовки, а у нас выпросишь одну, вот и носишь, пока не истлеет. Хоть на работу одевай, хоть на празднике красуйся. И не допросишься у бригадира. А что кладовщик? Нет распоряжений, нет спецовки и всё на этом, – и тут же спросил: – Ты надолго приехал? Домой идёшь?

– Может, и домой, – так, неопределённо сказал Шурка. – Давно не был. Решил проведать, пока свободное время появилось.

– Так это… – Кирилл распахнул куртку, и за поясом сверкнула бутылка дешёвого вина. – Одному не хочется, может, раздавим пузырёк, а? Встречу отметим, так сказать…

И звонко щёлкнул по кадыку.

Шурка задумался. Выпить-то можно, а что потом будут говорить в деревне? Скажут, Шурка Антонов прикатил, сам из себя важный, и нет, чтобы домой пойти, он с дружком бормотухи нализался. Каким был охламоном, таким же и остался. А с другой стороны, если посмотреть, нельзя отказываться, потому что люди неправильно поймут. Пригласили, а он отвернулся. Сразу скажут, что не уважает. А не уважает потому, что в городе живёт. Отсюда следует, что уехал в город и зазнался. И такого наговорят, такого припишут, хоть стой, хоть падай.

– Ну-у, выпить-то можно, – как бы нехотя протянул Шурка и оглянулся. – А где расположимся? Не посередь улицы разливать же…

– Так это… – Кирилл завертел головой и махнул. – Айда к Петьке Нечаеву. У него баба в город уехала. Сам до райцентра добросил. У него посидим. Раздавим пузырёк. И закусь есть. У меня всё предусмотрено.

Хохотнул и, покопавшись в кармане, вытащил помятый плавленый сырок и несколько карамелек в замусоленных фантиках.

Добравшись, Кирилл распахнул калитку, они зашли во двор и он, стукнув в окно, уселся на крыльце и закурил, попыхивая дешёвой сигареткой.

Донеслись шаги. Заскрипела дверь и, пригибаясь, выглянул взлохмаченный мужик в семейных трусах и в линялой майке. Зевнул, почёсывая волосатую грудь, и забасил.

– Что надо? – он посмотрел на Кирилла. – Думал, сосну минуток несколько, а тут тебя принесло, – и опять спросил: – Что надо?

– Так это… – Кирилл запнулся, потом звонко щёлкнул по кадыку и тут же указал на Шурку, который продолжал стоять возле крыльца. – Глянь, Петька, кто приехал к нам. Столкнись на улице, не узнаешь. Ишь, как вырядился, гусь лапчатый. Прям чистое начальство и только!

И хохотнул, наблюдая, как Петька Нечаев хотел было зевнуть, раскрыл рот и застыл, с недоумением всматриваясь в Шурку, а потом расплылся в широкой улыбке,

показывая неполный ряд выщербленных прокуренных зубов.

– Язви его в душу, – забасил он и ткнул толстым пальцем в Шурку. – Язви его… Антоха-картоха приехал! И правда не признаешь. Очки надвинул, шляпу напялил – чисто начальник. Каким же ветром занесло тебя, Санька?

И, подтянув сползающие трусы, зашлёпал босыми ногами по скрипучему крыльцу.

– Ну, здоров был, – сказал Петька Нечаев, протягивая широченную мозолистую ладонь. – Здоров, чертяка!

Шурка поздоровался. Ни улыбки, ни радости. Маска вместо лица.

– Ну, неси стаканы, – потирая руки, заторопился Кирилл и принялся выковыривать пробку. – От, затолкали, сволочи, даже не вытащишь.

– Подожди, – неторопливо сказал Шурка, вжикнул замком на сумке и вытащил оттуда бутылку водки. – Я вино не употребляю, как женился. Супруга запрещает. Говорит, мол, нечего всякую дрянь пить. И хорошую покупает. Заботливая, – и показал бутылку. – «Посольскую» за встречу выпьем. Мне не жалко.

И небрежно поставил бутылку на крыльцо.

– Ох, ты! – восхищённо протянул Петька Нечаев, взял бутылку и покрутил в руках, рассматривая. – А у нас такая не появлялась. Ну и как она, язви её в душу?

И звучно щёлкнул по горлу.

– У каждого свой вкус, – как-то уклончиво сказал Шурка. – Одни любят одеколон пить, другие дешёвое вино, – он не удержался и кивнул в сторону Кирилла. – Ну, а я предпочитаю «Посольскую». Мягкая она, чистая.

И всё это было сказано без улыбки, без всяких эмоций на каменном лице. Шурка считал, что каменное выражение лица – это первый признак серьёзности и ума.

– И часто предпочитаешь? – с ехидцей поинтересовался Кирилл. – Или купил, чтобы в деревне пофорсить? Ты же трепач! Такого нагородишь, семерым не расхлебать. – И хохотнул.

– Ну, как часто… – Шурка играл свою роль серьёзного человека. – В моей семье принято, чтобы каждое утро и в обед по стопочке, ну, а вечером можно позволить две-три на сон грядущий. В выходной, к примеру, могу бутылочку уговорить под хорошую закуску. Ну, там икорка, буженинка, сервелатик, грибочки, селёдочка с лучком, да под картошечку. Ух, за уши не оттащишь! Ага…

Сказал и, чуть склонившись, опять застыл, словно изваяние.

– Так никаких денег не хватит, чтобы столько выпивать, язви тебя в душу, – запнувшись, сказал Петька, долго шевелил губами, видать, подсчитывал, и снова покрутил бутылку. – Наверное, дорогущая, зараза?

– Не дороже денег, – так, с лёгкой небрежностью сказал Шурка. – Я достаточно зарабатываю, чтобы позволить себе такую водку. Коньяк не уважаю. И виски пробовал. Чем-то на нашу самогонку смахивает, правда, послабже будет. А вот «Посольскую» уважаю.

Качнул головой, поправил тёмные очки и снова застыл.

– А мать, как съездит в город, всё по деревне жалуется, что плохо живёшь, – сказал Кирилл и сглотнул, когда Петька принялся разливать водку. – Худой, аж просвечиваешь. И правда дохлятина! Не кормят тебя, что ли? – и тут же спросил: – А кем работаешь, если такие деньжищи тратишь на водку, а?

– Ладно, мужики, давайте-ка опрокинем по стопочке, – влез в разговор Петька Нечаев и, не дожидаясь, быстро опрокинул стопку и передёрнулся. – Фу, гадость! Как её татары пьют?!

И тут же засмеялся.

Шурка медленно выпил. Почмокал губами, ни один мускул не дрогнул, и даже не поморщился. Никаких эмоций. Словно маска на лице. Стопку на крыльцо и опять

застыл.

Взяв рюмку, Кирилл на мгновение застыл, потом двумя пальцами зажал крупный рыхлый нос, торопливо опрокинул стопку, кадык ходуном заходил, проталкивая водку внутрь, зажмурился и снова застыл, словно прислушивался, а что же внутри делается, а потом облегчённо вздохнул.

– Фу-у, привилась, кажись, – выдохнул он и, схватив кусочек плавленого сырка, стал жевать. – Вчера перебрал. Утром голову от подушки не мог поднять. Чугунная! Ага… Баба ругается, а мне и без неё тошно. Послал её. Далеко! Собралась и ушла. Наверное, у соседей сидит, на меня жалуется. Ну, сиди-сиди… Всё равно мимо дома не пройдёшь.

Сказал он снисходительно и опять потянулся к стопке.

– Послал… Это она ушла, чтобы твою пьяную рожу не видеть. Я ж смотрел, как ты на бровях полз, – басисто хохотнул Петька. – Окликнул тебя, а ты словно не слышишь. Видать, на автопилоте был, язви тебя в душу.

Опять хохотнул, звякнул полными стопками и кивнул.

Выпили.

Шурка достал пачку сигарет с фильтром. Закурил. И протянул пачку.

– Угощайтесь, – с каменным лицом сказал он и ткнул пальцем в очки, поправляя. – Лёгонькие. А запашистые – страсть!

Кирилл отмахнулся. Свои достал и задымил. А Петька Нечаев кое-как вытащил корявыми пальцами сигарету, прикурил, затянулся и зашёлся в долгом кашле, а потом сплюнул, затушил об ладонь окурок и выбросил на улицу.

– Как такую дрянь люди курят – не понимаю, – продолжая кашлять, натужно сказал он. – Настоящая вата! Лучше самосад курить, чем всякие импортные. Ерунда!

Сказал, поморщился и махнул рукой.

– Ну, Антоха, хвались, как в городе живёшь, – сказал заметно оживший Кирилл. – Как баба, как сам? Вообще, рассказывай, а то твоя мамка ничего путного не говорит. Только и делает, что жалуется. Наверное, все бабы такие, – и тут же повернулся к Нечаеву. – Петька, плесни ещё грамульку. Кажись, привилась.

Шурка помолчал. Форс держал. Выпил полстопки и поставил на крыльцо. Закурил. Сквозь тёмные очки с прищуром посмотрел на дружков.

– Хорошо живу, можно сказать, – он выпустил тонкую струйку дыма. – Работа ответственная. Если меня не будет, всё производство встанет, а за ним другие заводы, потому что у нас всё взаимосвязано. Да, представьте себе…

И свысока взглянул на них, мол, видите, какой я ценный работник.

– Ох, ты, – протянул Петька Нечаев и поддёрнул широкие трусы. – А кем работаешь?

– Специалистом по древесине, – важно сказал Шурка и ткнул пальцем в очки, поправляя. – Да, можно сказать, что почти самым главным специалистом. Если я заболею, не дай бог, вся линия встанет, а за ней и производство. Делайте выводы. Это не коровам хвосты крутить или на тракторе ездить. Жена… А что жена? Как у Христа за пазухой живёт. Не успевает деньги в кубышку складывать. Вот собираемся новую мебелишку брать, и машина не за горами, а осенью, как в нашей семье принято, поедем на море. Бархатный сезон начинается. Всякие овощи там, фрукты… Немного отдохнём.

Шурку понесло. Он любил приукрасить, а сейчас не то, что приукрасить, а нагло и бессовестно врал. Много и уверенно. И так правдоподобно, что сам стал верить своему вранью.

– Да, отдохнём, а потом, полные сил, снова возьмёмся за работу, – покачиваясь с пятки на носок, говорил Шурка. – Тёщу к себе забрал. Пожалел. Одна в другом городе прозябала. Сейчас с нами живёт. Не нарадуется. Я не обижаю её. И она той же монетой платит. Ага… Не успею с работы зайти, тёща мчится в ванную и воды на-

бирает, чтобы я сполоснулся. Чистый полотенчик повесит, халат прогладит, чтобы тёплый был. А жена бежит на кухню. Пока моюсь, на стол собирает. Халат наброшу. Зайду на кухню, а они ждут меня. Не успею за стол сесть, одна ложку с вилкой подаёт, а другая рюмочку пододвигает. Выкушай, кормилец, стопочку для аппетиту! Ну, я немного покочевряжусь. Поковыряю вилкой в тарелке и отодвину. Говорю, мол, пересолила, в рот не возьмёшь. Жена, ах, и в обмороки падает, а тёща вокруг мечется, дует на неё, нашатырку в морду суёт, в чувство приводит. А я рассмеюсь и говорю, что пошутил. Они обе: ах ты, насмешник этакий! И хохочут, и заливаются, и пальчиками грозят…

Шурка врал самозабвенно. Закрыв глаза, он говорил без остановки, а перед ним вставала картина этой жизни. Этой, про которую сочинял, а не настоящей. И ему не хотелось возвращаться в реальную жизнь, где намного хуже, чем в мечтаниях. И он продолжал врать. А друзья сидели и внимательно слушали его.

– Ты глянь, как стал жить, язви его в душу, – удивлённо покачивая головой, сказал Петька Нечаев. – Никогда бы не подумал, что так в жизни устроишься. И квартира есть, и денег куры не клюют, по курортам разъезжает, и тёща золотая, а уж про жену и говорить нечего. Всем бы таких баб. Вот бы зажили мужики, а то всю жизнюшку мучаются, бедняги!

И прикрыл глаза, причмокнул, представляя эту жизнь.

– Трепло, как есть – трепло, – неожиданно сказал Кирилл и отмахнулся. – Слышь, Петька, что веришь ему? Он был трепачом, им же и остался. Ты сидишь и уши развесил, а Шурка лапшу на них вешает. Болтун!

Громко сказал и ткнул пальцем в Шурку.

Шурка оскорблено промолчал. Он держал форс.

– Да ну-у… – протянул Петька Нечаев. – Он же на полном серьёзе говорит. Глянь на него. Значит, правду говорит, язви его в душу. А ты – трепло, трепло… Просто завидуешь, что человек хорошо живёт. У самого-то баба, какая. Как огня боишься её, а туда же…

И поморщился, не объясняя, куда же. Закурил. Попыхал, поглядывая на смурого Кирилла и неподвижно стоявшего с каменным выражением на лице Шурку. И мотнул головой, словно застоявшийся жеребец. Пригладил взъерошенные лохмы. Громко зевнул, почёсывая волосатую грудь, и, схватив бутылку, поровну разлил остатки водки.

– Ну, мужики, чтобы нам так жилось, – вздохнув, сказал он, выпил, посмотрел на хмурого Кирилла и добавил: – А может, и правда брешет, язви его в душу!

И покосился на Шурку.

Шурка продолжал молчать, будто не его касалось.

А Кирилл повеселел, когда на его сторону как бы встал Петька Нечаев, который тоже засомневался.

– Вот и я говорю, что трепло, и всё на этом, – махнув рукой, сказал Кирилл, а потом достал бутылку. – Что, раздавим пузырёк, мужики?

Он сказал примирительно.

– Да ну… – поморщился Петька Нечаев. – После вина башка заболит. Спрячь. У меня самогоночка есть. Чистая, как слеза. Я утром к бабке Наумихе бегал. Купил бутылку. Как чуял, что вы заглянете. Сейчас…

И, поддёрнув трусы, скрылся на веранде.

– Будешь? – Кирилл показал на бутылку.

Шурка покосился и мотнул головой, отказываясь.

– Ну, как хотите, была бы честь предложена, – развёл руки в стороны Кирилл, а потом приткнул бутылку за пояс. – Мне больше достанется.

И хохотнул, довольный.

Вышел Петька Нечаев. В руке держал бутылку. В другой была пара огурцов и

кусок чёрствого хлеба.

– Извиняйте, язви вас в душу, не в городе живём, – сказал он и положил закуску на голые доски. – Чем богаты, тем и рады.

И потянулся за стопками.

Шурка стоял, прислонившись к перилам, и смотрел на деревню. Душа радовалась при виде домов и палисадничков, а там видны поля. Одни уже золотом покрываются, а другие ещё в зелени стоят. А там речка кружит между пологими холмами. Её легко проследить. По берегу ветлы растут да черёмушник стеной. Хорошо видно! А вдоль речки стадо бредёт. Наверное, на водопой пригнали. Вон, кучкуются. Напьются и будут отдыхать, пока пастух не поднимет. Загавкала собака и куда-то промчалась мимо двора. Следом заголосил петух. Громко, протяжно, и тут же завторили другие, стараясь друг дружку перещеголять. Господи, хорошо-то как!

Шурка вздрогнул, когда ему ткнули в бок и стали совать стопку с самогонкой.

– Не буду, – сквозь зубы процедил Шурка. – Не уважаю самогонку.

Да, он мог бы достать ещё бутылку, и ещё одну, а что же отцу-то принесёт? Чем его угостит, когда из бани вернутся? Нет, не жалко было. Он не мог пустым домой прийти. Всё же в гости приехал. Всё же из города прикатил. А в городе, что ни говори, другая жизнь. Куда намного лучше деревенской, да и денег побольше получает, чем они – родители. И вообще, у него жизнь удалась. Пусть смотрят и завидуют.

Господи, как же он соскучился по деревне. По деревне и по отцу с матерью.

– Я пошёл домой, – сказал он и поправил шляпу, ткнул пальцем в тёмные очки и шагнул к калитке. – Давно не был. Мои, наверное, заждались. И работы накопилось, пока меня не было. Нужно помочь.

– Ну, если не хочешь выпить… – протянул Петька Нечаев и почесал волосатую грудь. – Мы одни уговорим пузырёк, да, Киря? – и тут же опять к Шурке. – Твой батя крышу латает. Прохудилась. А ты, Антоха, когда обратно собираешься?

– Завтра уеду, – чуть приостановившись, сказал Шурка. – Работа ждёт. Мне нельзя подводить людей. Иначе всё производство встанет. Незаменимый человек, так сказать. Как-никак, считаюсь самым главным специалистом по древесине.

Сказал и направился по тропинке.

– Трепло, – вслед буркнул Кирилл и подставил стопку. – Наливай, а то выдохнется.

– А мне кажется, что не врёт, – засомневавшись, забасил Петька Нечаев. – Глянь, какой серьёзный. Даже ни разу не улыбнулся. И в шляпе, и с галстуком. Как пить дать – начальник, язви его в душу. В люди вышел. Ну, Киря, вздрогнем…

Он опрокинул стопку и весь съёжился, замотал головой и поморщился.

– Ох, крепка!

А Шурка неторопливо шёл по деревне. Он смотрел по сторонам, приподнимал шляпу, здороваясь с соседями. Одни узнавали его, а другие не признавали и сидели, всё гадали, кто же это приехал.

А он степенно шагал, и в душе была радость. Глядел по сторонам и радовался каждому дому, каждому встречному человеку и даже чёрной лохматой собаке, которая мимо него пробежала и не гавкнула. За своего приняла, а может, и признала. Хоть Шурка живёт в городе, где, как казалось, жизнь лучше, а всё-таки в душе остался деревенским.

Он шагал и старался не думать, что завтра вернётся в город, и опять начнётся эта проклятущая жизнь, от которой он сбежал. Сбежал всего лишь на два дня, но и этого было достаточно, чтобы в его душе появилась искренняя и большая радость, потому что Шурка приехал не в гости, он вернулся домой, где всегда его ждут.

Всего два свободных дня, вроде бы так мало, но в то же время – это целая вечность.

Души людские

Старый двор. Дом в три этажа колодцем. Окно в окно. Вся жизнь на виду, от рождения и до последнего дня. Там подворотня, здесь подворотня. Редкие машины, но частые прохожие. Рядом остановка и магазины. И течёт река человеческих тел. Бежит, разбиваясь на ручейки. Некоторые из них торопятся вдоль улицы, а другие ручейки прозвенели в подворотнях, и разбились на людей-живчиков, одни дальше заструились, а другие в магазины завернули, снова выкатывались на улицу, опять соединяясь в ручейки, и растекались по многочисленным улочкам и переулкам, и чем дальше, тем тоньше ручеёк становился. И хлопали двери в подъездах, за которыми люди-живчики скрывались. Зажигались окна в домах. Наступил вечер…

Захар Носов вернулся с работы. Отделился от узенького ручейка, поздоровался с соседями, которые сидели на лавке, и живчиком вкатился в подъезд. Насвистывая, взбежал на третий этаж, где у него была небольшая однушка. Хлопнул дверью и вздохнул, радуясь, что наконец-то наступил вечер и можно немного отдохнуть. Переоделся. Натянул трико. Набросил рубаху. Заглянул в холодильник. Суп в кастрюльке, плавленый сырок на полке, рядом пачка маргарина и ячейка с десятком яиц. Махнул рукой и захлопнул холодильник. Схватил чайник и сунул под кран. Зашипела вода. Громыхнул чайником по плите. Ужин будет попозже, а пока вскипятил чай. Налил в кружку. Сыпанул туда пять ложек сахара. Захар любил сладкий чай. Откромсал толстый кусок хлеба и подошёл к окну, которое выходило в небольшой, но в то же время, как ни странно, светлый внутренний дворик. Солнце не только заглядывало сюда, оно будто бы задерживалось, хотя в других таких же дворах было мрачно, сыро и холодно, а первый этаж, казалось, вообще не видел солнечных лучей, зато в их дворе… Солнце заглядывало, и дворик становился ярким, светлым и тёплым, но всю картину портила огромная куча мусора, что возвышалась на месте давно забытой большой клумбы, которая была посреди двора. Многие годы на ней скапливался всякий мусор, который бросали из окон, туда же вытаскивали старую мебель, надеясь, что мусорная машина увезёт, но она не забирала, и старьё копилось годами – культурный слой, так сказать. Здесь же валялись разобранные строительные леса и прочий строительный хлам, будто другого места не нашлось. Всё бы так и лежало, но недовольные жильцы всё чаще стали писать во все инстанции, что единственную клумбу – этот зелёный оазис в пустыне, этот островок счастья посреди каменных джунглей – захламили до такой степени, что даже старые жители не могут вспомнить, как она выглядела, эта клумба. И людям приходится заниматься чуть ли не акробатикой, преодолевая все препятствия, лишь бы добраться до подъезда. А скоро, если не будут приняты самые наистрожайшие меры, двор превратится в один огромный мусорный бак, потому что хлам уже местами возвышался выше первого этажа, и людей ждёт верная смерть. Жаловались до тех пор, пока не приехала комиссия, которая заставила нерадивых руководителей очистить двор. Очистили. И правда, перед глазами жильцов появилась заброшенная и давно забытая клумба. Попервоначалу местное руководство пытались облагородить двор, чтобы перед комиссией отчитаться. Привезли несколько машин земли. Вывалили на клумбу. Высадили хиленькие ростки неизвестных цветов, сфотографировались на фоне клумбы вместе с жильцами, напечатали в газете и всё на этом. Забыли про клумбу. За ней же надо ухаживать, а присматривать некому, как сказали на общем собрании. Не нашлось желающих, которые согласились бы кланяться каждой дворовой клумбе, хотя по пальцам можно было пересчитать все клумбы, которые были в городе. И, сославшись на тяжёлое положение, на нехватку рабочих рук, а тем более денежных средств, руководство с чистой совестью отказались от содержания клумбы, но тут же согласились, чтобы жители своими руками сделали из двора цветник, но на свои кровные

деньги. И даже пообещали, что включат двор в международные соревнования на самую красивую клумбу планеты. Правда, о своём обещании быстро забыли, потому что есть дела поважнее, чем заброшенная клумба.

Долго жители ломали головы, что сделать на месте этой огромной клумбы. Первыми высказались владельцы машин, которые предложили построить гаражи, чтобы машины были на виду, но многие воспротивились. И так гари достаточно в городе. Не продохнуть. Не хватало, чтобы ещё в родном дворе устроили автомастерские. И отказались. Потом собирались вкопать столбы и натянуть верёвки для сушки белья – это на собрании предложили, но опять многие отмахнулись. Бельё можно и на балконе посушить, а двор – это не прачечная – это место общения всех соседей. А-а-а, если место для общения, тогда давайте-ка поставим беседки, чтобы вечерами можно было в домино поиграть или в какие-нибудь игры. К примеру, в подкидного дурака, а можно на интерес, чтобы скучно не было – это предложили мужики, но женщины наотрез отказались. Достаточно городского шума, а тут до ночи будут доминошками стучать, да орать, как резаные, а потом, когда взрослые по домам разойдутся, молодёжь со всей округи станет собираться, начнут вино пить и ругаться непотребно, на гитарах бренчать и горланить песни до утра. Ни днём, ни ночью никакого покоя жильцам не будет. Отказались. А потом кто-то предложил, что опять нужно цветочную клумбу сделать, потому что вокруг только асфальт и бетон, камень и стекло, и ничего такого, чтобы глаз радовало, чтобы душа отдыхала. И все единогласно проголосовали за цветник, но не у каждого была возможность им заниматься, и тогда старухи проявили инициативу и быстренько прибрали клумбу к своим рукам. Теперь почти у каждой был свой клочок земли или садик, как они ласково называли, где старались посадить всё, что угодно, и даже больше того, лишь бы глаз радовало, и душа отдыхала в этом каменном колодце среди кирпично-железобетонных джунглей. А две старухи рябинки посадили. И отстаивали право на жизнь этих саженцев. Говорили, что каждый человек просто обязан посадить хотя бы одно дерево в своей жизни, и грудью встали на защиту своих насаждений. Отстояли. Старухи готовы были дневать и ночевать возле своих садиков, лишь бы кто-нибудь из недоброжелателей не выдрал из земли посаженные цветочки. Врагов хватало. Внутренних врагов был полон двор, как они считали, да ещё включая внешних – прохожих, которые нескончаемым потоком движутся через двор. С раннего утра и до позднего вечера старухи стояли на охране своих цветов и саженцев или сидели на лавочках возле садиков и обсуждали новости. А новостей было много, как мирового масштаба, так и дворового, где вся жизнь проходит на виду, где ничего не скроется от дотошных старух. И всё нужно обсудить, постановить и вынести решение.

Старухи жили дружно, а, бывало, под хорошее настроение даже разрешали соседям посидеть с ними на скамейках возле садиков. Правда, редко, но такое случалось. Хвастались своими цветами, но близко не разрешали подходить. А чужих вообще не пускали в свой мирок. Машины тем более гнали со двора. А то понаставят, кому не лень, не продохнуть от дыма, поэтому цветы вянут. И гнали всех, кто даже на минутку заезжал во двор. Нечего делать. На улице оставляйте свои колымаги, а тут нельзя, потому что здесь всё создано для отдыха человека, чтобы глаз радовался, а душа тем более. А вот прохожие постоянно ходили через двор. Этих не остановишь. Двор-то проходной, тем более, что рядышком магазины и остановки. Лайся не лайся, а они ходили, и будут ходить, потому что проходные дворы для этого и созданы. И прохожие-живчики постоянным ручейком журчали через двор. Одни шли, не обращая внимания на клумбу и садики. Насупившись, словно думу великую думают, они шагали, не замечая ворчливых старух. Глаза в землю и торопятся. Останови и спроси, что увидел во дворе, они два слова не свяжут, потому что ничего не видели, кроме людей, впереди идущих, и дороги под ногами, потому что головы забиты другими заботами и некогда смотреть на всякие клумбочки-садочки. А были

такие, кто шагал, с любопытством поглядывая на цветущие островки среди асфальта и каменных домов, потому что нечасто увидишь такое в этих железобетонных джунглях, где не только деревья, даже трава не растёт на газонах, потому что земля в камень превратилась. А здесь зашёл и как в сказку попал. Рады бы остановиться да посидеть на одной из лавок, что стояли возле клумб-садиков, но сзади подталкивали прохожие, и старухи прогоняли всех, потому что разреши одному посидеть на своей лавке, потом отбоя не будет от желающих, и не дай бог, если начнут цветы рвать. Поэтому – запрещали…

У Захара тоже был небольшой клочок земли. В наследство от родителей достался. Правда, он ничего не сажал. Не тянуло к этим лютикам-цветочкам, и на то была веская причина, как он считал. Зато нравилось наблюдать, как старухи воркуют над цветочками. Вернётся с работы, ужин разогреет, потом возьмёт кружку с чаем и устраивается на широком подоконнике. Сидит, чай пьёт, сигаретку покуривает и сверху смотрит на яркие разноцветные клочки среди серо-жёлто-каменных стен и разбитого асфальта. Сверху не рассмотришь, что старухи посадили, но все цветущие клочки на клумбе превращались в яркую мозаику, если в окно выглянуть. Каждая старуха старалась перещеголять остальных, приобретая диковинные семена, и ворковали, чуть ли не пылинки сдували со своих цветочков, окружая каждое растеньице заботой и лаской, и поэтому цветам было вольготно, они росли яркими, красивыми и ухоженными. Правда, клочок Захара пустовал и смотрелся чёрной заплатой на цветастом фоне. Многие старухи выпрашивали его, даже деньги предлагали, а он не отдавал. Жалко было, а почему – не мог объяснить. Может, надеялся, что когда-нибудь в будущем, когда станет одним из таких же, как они… А потом неожиданно отдал соседке, хотя она не просила его. По дворовым меркам, его соседка, баба Вера, недавно заселилась в этот дом, а вот Захару казалось, что она вечно жила здесь, как и остальные старухи. Баба Вера сторонилась других. Неразговорчивая была. Взглянет исподлобья и торопится домой. Но если старухи замечали, что она стоит возле клумбы и шепчет, сразу прогоняли. Баба Вера не спорила с ними, а молчком уходила. Во дворе ничего про неё не знали. Она появилась после войны и во дворе считалась новенькой, потому что в этих домах некоторые семьи ещё до революции жили, а потом квартиры переходили детям, а те в свою очередь передавали по наследству своим детям. Здесь знали про каждого всё и даже больше того, чуть ли не до седьмого колена, как говорят, а вот про бабу Веру ничего не известно. Она перебралась в этот дом из соседнего городка, с собой было несколько узлов, кое-какая обшарпанная мебель и всё на этом. Не водила дружбу с соседями. Поздоровается и молчком в подъезде скрывается. Бывало, соседки останавливали её, а она будто не слышит. Вроде, вся жизнь двора на виду, а про неё ничего не могли сказать – это злило и ещё сильнее подогревало любопытство. Но с Захаром здоровалась она, если сталкивались. А бывало, улыбнётся, заметив его, но тут же стирает улыбку с морщинистого лица, словно не хочет, чтобы видели улыбку, но скорее всего не хотела, чтобы в её душу лезли, ни о чём не расспрашивали и прошлое не ворошили. Да, наверное, так и было…

Захар давно заметил, как соседка поглядывала на остальных старух, у кого были садики. Бывало, подойдёт и с места не сдвинется, смотрит на цветы, а сама что-то шепчет, а потом говорит, что цветы – это души людские. Старухи прогоняли её, думали, порчу наводит. Баба Вера уйдёт, а потом снова приходит и всё на цветы смотрит, а у самой губы шевелятся, будто разговаривает с ними. Одна жила, как и Захар. О себе ничего не рассказывала, и другим в душу не лезла. Единственное, что сказала, что у неё родных не осталось. Одна на белом свете. Наверное, поэтому он решил отдать землю, что такую же одинокую родственную душу встретил. Он тоже ни с кем не общался. Привет, привет, как дела, и всё на этом. И торопился домой. Он привык к одиночеству. И баба Вера была такой же.

Однажды Захар, возвращаясь с работы, остановил маленькую старушку. Сказал, что решил отдать землю ей, но временно, и потребовал, чтобы каждый месяц ставила бутылку. За аренду, так сказать. Баба Вера обрадовалась, что клочок земли появился, а он бутылке на халяву. Предупредил старуху, что земля его, почти собственная. По наследству досталась, так сказать. Это он так, на всякий случай сказал. Старуха закивала головой. А потом вскопала клочок земли, принесла небольшие узелки. Из одного высыпала землю на клумбу, из другого семена разбросала, где густо, а где пусто. Ладонями землю разровняла. Воду принесла. Полила и всё на этом. Старухи посмеивались, какой же дурак среди лета цветы сажает, а она молчала. А потом появились первые цветы. Не такие, как другие сажали, кто кого переплюнет, а самые что ни на есть простенькие, словно собирала семена, где ни попадя, и высадила, лишь бы клочок земли занять. Одни, едва появившись на свет божий, уже зацветали, а другие выше поднимались, а третьи только ещё проклёвывались, а некоторые вымахали высокими и кустистыми. Одни едва рождались, другие цвели, а третьи уже состарились. Всё, как у людей, или – похоже на людей...

Баба Вера каждый вечер приходила в садик. Выносила табуретку, садилась лицом к цветам и принималась что-то рассказывать, словно с кем-то разговаривала. Первое время соседки пальцами крутили возле виска, мол, дурочка объявилась, а потом замолчали. Ну, как замолчали… Ругались, что её простенькие цветы, больше похожие на сорняки, перебираются на их участки, где вовсю горят-полыхают всевозможные яркие и ухоженные цветы, которым место на выставке, а не рядом с полевым разноцветьем. И так было всегда, когда наступал вечер, и все собирались возле садочков, но баба Вера не обращала на них внимания. Она сидела и разговаривала с людскими душами…

И сейчас стоял Захар перед окном и смотрел, как возле своих садиков сидели старухи, а мимо них торопились люди. Много. Словно муравьи. Друг за другом. У каждого пакеты в руках. В магазин заходили, а теперь домой торопятся. Муравьи-живчики. Сейчас выскочат через другую подворотню, а там неподалёку остановка. Хочешь, езжай на автобусе, а решил пешком пройтись, можешь отправляться проходными дворами, если не заплутаешься, или начинай колесить по улицам. К примеру, поверни пять раз налево, семь раз направо, потом через три проулка, там будет кинотеатр, но туда не заходи, а шагай по главной аллее через парк, где раньше был большой фонтан, на месте которого поставили общественный туалет, потом в ту сторону поверни, в эту два раза и попадёшь на перекрёсток, и шагай на все четыре стороны, куда тебе нужно. Вся жизнь – это дорога. И ничего в жизни не видишь, кроме дороги. И везде нужно успевать. А нужно ли торопиться? Кто знает… С самого рождения и до своего последнего дня суетишься: садик, школа, институт, работа, пенсия – если доживёшь, конечно, а впереди ожидает кладбище – финишная черта этой самой жизни, и лишь там человек находит покой…

Захар часто вспоминал родителей. Вся жизнь – беговая дорожка. Везде нужно было успеть. Работа, дом, снова работа, и редкий раз выезжали за город, чтобы побродить по лесу. Тогда родители превращались в детей, которые носились по лесу, восторженно вскрикивали, чуть ли не в ладоши хлопали, заметив яркого дятла на дереве, или натыкались на полянку, полную ягод, и ползали на коленях по траве. Срывали спелые ягоды и ели, и баловались, размазывая сок по лицам, а потом приходилось возвращаться в город и снова начиналась жизнь по кругу – работа, дом, работа, дом, а по вечерам небольшой отдых для души: посиделки возле своего садика… Как заведённые. Жизнь пролетела, а они не заметили, как состарились. Так и ушли друг за другом. Как были в жизни вместе, и там оказались вдвоём, оставив Захару однушку, продавленный диван и раскладушку, многочисленные полки с книгами, холодильник на кухне и клочок земли, где выращивали цветы, где душа отдыхала. Вот всё богатство, какое они заработали за долгую, но в то же время то-

ропливую жизнь. И Захар, сколько лет прожил один, но ничего, кроме книг, в доме не прибавилось, и к садику он был равнодушен. Не интересовался новыми вещами, и в земле не хотелось возиться, лучше из окна глядеть, как старушки воркуют в своих садочках. Захар не гнался за красивостями жизни. Есть на чём поспать, есть из чего поесть, и хватит, а по вечерам, если не пошёл шататься в одиночестве по городу, можно книжку почитать или в окно поглазеть на старух, но самого не тянуло возле садика сидеть – цветы охранять. А может, будет сидеть, когда его время придёт. Захар привык к одиночеству. Ни друзей, ни жены. Не хотел жену приводить в дом, чтобы никто не влезал в его одиночество. Были временные девки. Девки-однодневки, как он называл, которые не задерживались в доме. Но даже однодневкам не нравилось, как он живёт. Ну и ладно, говорил он, вслед махая очередной девке. Меньше заботы. И опять возвращался к привычной жизни. Работа, дом, а по вечерам сидел на подоконнике и читал свои книги или наблюдал за соседками, которые устраивали посиделки, а в выходные, если солнце заглядывало во двор-колодец, старухи грелись под тёплыми лучами и в такие минуты становились добрее, что ли, разрешая соседям посидеть возле садочков…

Захар стоял возле окна, наблюдая за цветочной мозаикой. «Ты посмотри, – думал он, – вроде бы, повсюду камень, а, гляди ж ты, цветы растут. Это ж сколько в них силы заложено, чтобы с камнями справиться. Ну и что, что земля насыпана, так корни же вглубь лезут, а там камни. Наверное, между ними протискиваются. О, как жизнь любят! Не то, что люди. Чуть что не так, и всё – отдал концы, а растения – это ого-го! Растения – это сама природа, можно сказать». Он часто вспоминал, как однажды с мальчишками залез на крышу и там, за трубой, в местечке, защищённом от ветра, росла кроха-берёзка: тоненькая, хрупкая и светленькая. Она прижималась к кирпичам, словно защиты просила, а они прикрывали её от ветров да холодных дождей. Пацаны хотели выдернуть берёзку, но Захар вступился. Разодрались на покатой крыше. Ладно, кто-то из окна заметил и крикнул, а то неизвестно, чем бы драка закончилась. С той поры Захар частенько поднимался на крышу. Съездит на окраину города, в кулёк или пакет насыплет хорошей земли и торопится к своей берёзке. Вывалит под корни, потом притащит бутылку с водой. Польёт и, казалось, берёзка радуется. Усядется рядышком и начинает мечтать, а бывало, вспоминал, как с родителями ездил в лес. Но однажды залез на крышу и увидел, что его деревце валяется, а возле него электрики работают. Вырвали, чтобы не мешалась. Захара обвинили, что из-за дерева замкнуло провода, и весь дом… да что дом, почти весь район остался без электричества. «Не врите!» – крикнул Захар, подхватил берёзку и побежал в садик, который родители сажали. Руками выкопал ямку, посадил деревце, надеясь, что будет расти, но, видать, корни повредили, когда топтались по ней. Засохла берёзка. С тех пор Захар не любил ни деревья сажать, ни цветы выращивать. Жалко было, что они умирают…

И сейчас стоял, смотрел на цветы. В душе радовался, но в то же время понимал, что эта красота не вечна, и пройдёт всего лишь немного времени, и цветы завянут, а осенью вообще оголится земля. Следом метели закрутят и скроют под снегом садики. Останутся снег и камень. И снова будут старухи до весны ждать, когда сойдёт снег, и прогреется земля, чтобы опять выйти, посадить цветы и до глубокой осени за ними ухаживать, над каждым цветочком трястись и всех прогонять, лишь бы не сорвали. А его соседка, кому он отдал во временное пользование свой клочок земли, она не тряслась, как другие. Рассыплет семена, ладошкой пригладит, словно приласкает, и ждёт, когда они проклюнутся. А потом до снега сидит возле неприметных цветков и разговаривает с ними. У других давно уж завяли цветы, и они по домам разошлись, греются, а баба Вера всё ещё выходила к садику, где продолжали радовать глаз простенькие цветочки. Одни отцветали, а на их месте появлялись другие, и так до самых холодов. Соседка радовалась, что никто не мешает её одиночеству. При-

нарядится, словно на свидание отправлялась. Даже казалось, будто молодела, пока рядом с цветами сидела. И так каждый раз…

Старухи, какие ухаживали за своими садиками, понемногу привыкли к этой странной соседке, которая с ними не общалась, не сидела на лавочке и не перемывала кости жильцам, а чаще находилась возле своего разноцветья, которое и цветами как-то стыдно было называть, как им казалось, если взглянуть на их садики, где во всей красе благоухали всеми цветами радуги цветы, которым место не на клумбе, а в ботаническом саду или на выставках. И как-то неприглядно смотрелось простенькое разноцветье рядом с этими выставочными экземплярами. Но больше всего старухи были недовольны, что эта соседка позволяла прохожим посидеть на её лавочке и отдохнуть. Правда, цветы не разрешала рвать. Всем твердила, что цветы – это души людские. И ежели кто сорвёт цветок, значит, тот погубит душу человека. Многие смеялись над ней, а некоторые пальцем крутили возле виска, мол, дурочка объявилась, но баба Вера не обращала на это внимания. Пусть болтают, что хотят…

Захару интересно было наблюдать за клумбой. Сидит на подоконнике, чай попивает или курит, а сам смотрит на мозаику. И правда, как мозаика эти цветы. Всякие: яркие, всех цветов радуги, лишь у его соседки были простенькие цветочки, но они вида не портили. А наоборот, что-то такое было в них, что связывало все цветы воедино. Казалось, выдерни яркое разноцветье у любой из старух и ничего не изменится, потому что у других почти такие же растут. А вот если вырвать у его соседки цветы, и всё – мозаика распадется. Если повнимательнее взглянуть на цветы, можно даже хозяев представить. Может, и правда души людей переселяются в цветы, как баба Вера говорила. Всё как в жизни – у одних она яркая и многоцветная, как конфетная обёртка, но душа пустой окажется, а у других с виду непримечательная, а копни поглубже и увидишь, сколько тепла или добра в этом человеке находится, который со всеми делится и ничего взамен не требует. Каждому человеку, как и цветку, уготована своя жизнь. Одни пытаются прыгнуть выше головы и разбиваются, ничего не достигнув, некоторые взлетают, но быстро сгорают, а другие довольствуются тем, что свыше дадено. Значит, после смерти у каждого человека будет свой цветок, где его душа найдёт покой. Видимо, так оно и есть…

– Баб Вера, – стукнул по двери Захар и, заметив, что незапертая, удивлённо качнул головой и зашёл. – Слышь, баб Вер, а что дверь нараспашку? Я что пришёлто…

Сказал и прислушался. В квартире было тихо.

Захар потоптался в прихожей и не удержался, направился к приоткрытой двери, с любопытством осматриваясь по сторонам. Он впервые зашёл к ней домой, хотя она всю жизнь прожила здесь, как казалось Захару. Сама ни к кому не ходила и к себе не приглашала, а кто и заходил, того дальше порога не пускала.

– Баб Вера, что молчишь? – опять окликнул Захар, продолжая осматриваться. – Эй, есть кто живой?

Сказал и заглянул в зал.

В зале стояли диван, круглый стол, возле него два или три стула. В углу старая этажерка, виднеется пара книг да какие-то журналы. Отдельно лежат газеты. Застиранные занавески на окнах. Возле стены обшарпанный комод. На стене фотографии в чёрных рамках. Захар закрутил головой. Темно. Оглянулся, а потом щёлкнул выключателем. Вспыхнул жёлтый тусклый свет под абажуром. Прислонившись к комоду, Захар внимательно всматривался в фотографии. Если хочешь узнать о прошлом человека, смотри фотографии – они многое могут рассказать. И правда, на снимках два старика, дядьки с тётками, моряк в лихо заломленной бескозырке, детская фотография, а на одном снимке узнал свою соседку, которая стояла рядом с парнем. Совсем молоденькие. Оба напряжены. Он хмурится, стараясь выглядеть постарше, а она испугана, того и гляди заплачет. Оба пристально смотрят в одну точку.

Наверное, фотограф велел. Так и получились на снимке…

Захар повернулся, когда услышал шаги. Рядом с ним стояла соседка и смотрела на него, на фотографии, сама хмурилась, но молчала, а другого давно бы выгнала. Захар хотел было спросить и потянулся к фотографиям, но она покачала головой и придержала его за руку.

– Не тронь, Захарушка, – непривычно, но в то же время ласково назвала его. Так только мать звала в далеком детстве, а теперь и она, даже интонации были похожи. – Не тронь, Захар, – повторила соседка. – Много лет никто к ним не прикасался. Это память. Фотографии – это единственная память о нашей семье и моём Захаре, который воротился с войны, а в мирную жизнь не вернулся.

– Как так? – Захар мотнул головой. – А куда он делся?

– Война его забрала, хотя и закончилась, – запнувшись, словно решая, рассказать или нет, сказала баба Вера, а потом кивнула на диван. – Присядь, Захарушка…

Сказала и сама рядышком пристроилась.

– Я никому не рассказываю о своём прошлом. Оно – тут, – и баба Вера ткнула себя в грудь. – Это моя радость и беда. Прошлое останется со мной. Ты спросил про мужа? Так вот… Его Захаром звали, как и тебя. Мы перед самой войной свадьбу сыграли, – сказала соседка. – Всего лишь неделю прожили и война началась. Налюбиться не успели, как моего Захара забрали. Сфотографировались с ним, когда на войну уходил. Сказал, мол, гляди и меня вспоминай. Так и получилось. Он с первых дней на фронте, а я посмотрю на снимок и все думы о нём, лишь бы живым вернулся. Любой. Без рук и ног, но вернулся. Каждый день весточки ждала от него, каждому письму радовалась. Читала и перечитывала до дыр. В стопочку складывала. Мечтала, когда он вернётся, вместе будем перечитывать. А в конце войны письма перестали приходить. Я не знала, что и думать. Если убили, где похоронка? Если без вести пропал, почему не сообщили? А если живой, так отчего не написал? Вот эти вопросы мучили меня. Вроде, есть человек, а в то же время исчез. Пропал. И никакой весточки от него. Был и пропал, я бы так сказала. Но если нет никаких вестей, значит рано хоронить. У других же бывало, что чуть ли не с первого дня ни одного письма не получали, а потом объявлялся жив и здоров. И я верила, что мой Захар живой. Вытащу фотографию и разговариваю с ним, словно он рядышком сидит. Обо всём говорила, но чаще вспоминала нашу прошлую жизнь и мечтала о будущей, как война закончится, он вернётся и мы заживём, и детишек будет семеро по лавкам. Сама мечтаю и кажется, он слышит меня и отвечает. Понимаешь, верила, что он живой. Сердце подсказывало. Сколько говорили, что понапрасну жду, а я продолжала надеяться, что мой Захарушка вернётся. И не ошиблась. Однажды тётка Авдя, соседка наша, пришла и говорит, будто видела на вокзале в соседнем городке калеку безногого. На моего Захара похож, такой же молодой, но весь седой. Подошла к нему, окликнула, а он прогнал её, сказал, мол, ошибаешься, тётка, он случайно попал в этот город, а сам будто бы живёт на краю земли. Она рассказывает, а у меня сердце ёкнуло. Подхватилась и помчалась туда. Не заметила, как десять вёрст промелькнули. И не удержалась, ноги подогнулись, когда калеку увидела. Издалека поняла, что это Захар. Пьяный. На тележке, пристёгнутый. Он сидел возле привокзальной столовой. Я кинулась к нему, а ноги не держат. Упала перед ним, заголосила. А потом бросилась обнимать его и целовать, а сама и смеюсь, и плачу, его ругаю, что ж ты, такой-сякой домой не едешь, я ж все жданки проела, все глаза проглядела. Он увидел меня, отдёрнулся, весь затрясся, аж белый стал, принялся матюгаться и всё норовил оттолкнуть, мол, обозналась ты, девка. А как я могу обознаться, если каждую чёрточку, каждую родинку знаю наизусть? Снова сунулась к нему, а он в кошки-дыбошки, мол, если не отстанешь, изувечу!

И замолчала, о чём-то задумавшись.

И Захар молчал, опасаясь нарушить эту тишину.

– В общем, через ругань и тычки, но всё же уговорила и забрала его домой, – покачиваясь, сказала она. – Привезла. Своей бани не было. Нагрела воды и ну его намывать. Только пена и мат во все стороны летели, а я молчала. Плакала, что на нём живого места не было. И радовалась, что мужик возвратился домой. Пусть изувеченный, но главное, что живой. Теперь заживём! У других никого, а у меня хоть калека, но вернулся. Да, радовалась, только недолгой моя радость оказалась…

И опять замолчала. Долго сидела, а потом встрепенулась.

– Стали жить, – продолжила она. – До войны мечтали об одной жизни, а на деле по-другому получилось. В первый же вечер потянулись соседки, чтобы про своих мужиков спросить, у кого с войны не вернулись. Шли узнать, не встречал ли их. Двери не закрывались. И не выгонишь. Сама такой же была. Они спрашивают, а его трясти начинает. Не хотел вспоминать войну. Да, так и было… А бывало, что плакал. Отвернётся, а у самого плечи ходуном ходят, а спроси, сразу огрызался, если сунешься пожалеть, матюгами обложит. Я понимала, не на меня злится, а на себя, что такой молодой и калека. До войны был шофёром. Вернулся калекой. Однажды бегу домой и вижу: сидит мой Захарушка возле чужой машины и гладит колесо, а у самого слёзы на глазах. Кинулась к нему, а потом остановилась, а у самой сердце словно в кулак сжали, аж не продохнуть. Всё бы отдала, чтобы вернуться к прошлой жизни, но не получилось. Захар молодой, ему жить да жить, а он не выдержал и запил. Крепко. Я на работу, а Захар к ближайшему магазину или на рынок. Там всегда находились сердобольные люди. То деньги сунут, то угостят. А к вечеру лыка не вяжет. Вернусь, а его нет. Бегаю по улицам, его разыскиваю. Найду, домой волоку. А утром снова на работу. И так каждый божий день. В общем, сломался мой Захар. Его можно понять. Жена молодая, а он калека. Здесь бы ребятишек рожать и рожать, упущенные годы навёрстывать, а он ни на что не способен, и на детей – тоже. Я работаю, а он инвалид безногий. Я расцвела, когда его нашла, обрадовалась, что мужик домой вернулся, а он себя поедом ел, что не погиб на фронте, что калеки никому не нужны, а жёнам тем более. И покатился по наклонной. И чем дальше, тем быстрее. Ночами воевал. Нет, не со мной. В атаку ходил. Он же в пехоте воевал. Очнусь от крика: «Взво-од, за мной!». Кинусь, а он лежит и трясется. Вроде, смотрит на меня, а не видит. Криком исходит, поднимая солдат, аж пена на губах и глаза белые, и всё обрубками ног шевелил, словно бежит… Трясу его, трясу, он не слышит. Он бойцов в атаку ведёт. И умер в атаке. Вскинулся, закричал, взмахнул рукой и захрипел. Бросилась к нему, а он не дышит. Сердце остановилось. Осколок рядом был. Сдвинулся, и не стало моего Захара. Вот и получается, что на войне погиб, хотя война давно закончилась, – помолчала, а потом не сказала, а выдохнула: – Не уберегла его. Себя буду винить до последнего дня своего, что не сберегла мужа, что времени на него не нашла. Его бы приласкать, чтобы душа оттаяла, присесть и поговорить лишний раз, а я на работу бежала. Если б рядышком была, думаю, выходила бы его. Потихонечку, но вернула к жизни. А у меня не получилось. Чуть свет уходила на работу и поздно возвращалась, а мой Захарушка оставался один на один со своими думами и бедой. До войны песни любил петь, а вернувшись, замкнулся в себе. Не то, чтобы песню, слова из него не вытянешь. Так и ушёл от меня, не поговорив по душам. Поэтому виню себя в его смерти. Себя и никого более. С той поры одна осталась на всём белом свете. Такого, как Захар, не найдёшь, а другие не нужны. Памятью живу. Всё, что было хорошего в моей жизни, осталось в прошлом, а впереди один мрак и ничего более…

– А это кто? – не удержался Захар и кивнул на фотографии.

– Там бабака с дедом, родители и младшие братья с сёстрами, – тихо сказала баба Вера. – У нас была большая семья. Никого не осталось. Я ж замуж вышла, и к Захару уехала. Он в городе жил. Потом война началась. Захар ушёл на фронт, а меня

с заводом в тыл отправили. Сколько писала домой, никто не ответил, а потом узнала, что отец на фронте погиб, а мать и младших фашисты расстреляли. Окружили деревню, где они прятались, согнали к оврагу, там и расстреляли. Немногие спаслись. По пальцам пересчитаешь, кто успел в лес уйти, а остальных в овраге положили. Ездила туда. Разыскала место, где расстреляли. Глубокий овраг. Внутри темно, а склоны цветами покрыты. Разные цветы. Усыпаны склоны! Долго сидела на краю оврага. Всё плакала, говорила с матерью и братишками, и показалось, что цветы качаются, словно разговаривают. И правда, прислушаешься, будто шёпот отовсюду доносится. Видать, души людей, кто погиб здесь, в цветы превратились. А потом снова приехала. Осень на дворе была, когда навестила родных. Листва с деревьев облетела, а склоны сплошь в цветах, которые закачались, когда с ними заговорила. Долго сидела, обо всём говорила, и о жизни – тоже, потом насыпала земли из оврага, где они были расстреляны, где кровь рекой текла, и остановилась на ночлег у старухи, что жила на краю леса. До утра просидели. Обо всём говорили с ней. А утром, когда я собралась в дорогу, она сунула узелок в руки и сказала, что в этих семенах души людские находятся. Сколько лет хранила, не знала, где посадить. Дома рассыплю на столе, по семечку перебираю и разговариваю с ними, как с живыми людьми, и казалось, что они отвечают. Не знала, где посадить цветы, а ты словно почуял. Отдал свой садик, и я словно ожила. Посижу рядышком, всех повспоминаю, поздороваюсь с ними, каждого по имени назову, со своим Захаром поговорю, с матушкой пошепчусь, отцу поклонюсь, и душа успокаивается. И они, наверное, тоже радуются, что их не забываю. Там радуются…

И ткнула рукой вверх, словно на небеса показывала. Замолчала. Сидела, раскачивалась и о чём-то думала. Наверное, своих вспоминала…

Долго сидел Захар, не решаясь подняться. А потом вышел и потихоньку прикрыл дверь.

С той поры Захар подружился с соседкой. Они не разговаривали. Захару хватило того, что от неё услышал, а лезть в душу не привык, да и она не дала бы влезать. Он свыкся с одиночеством, и она привыкла к такой же жизни. Бывало, Захар возвращался с работы, садился на скамейку возле её садика и подолгу смотрел на цветы, о чём-то думая. И баба Вера присаживалась. Тоже молчала. Разговоры были ни к чему. Они были разными по возрасту, но в то же время что-то их связывало. И это что-то было – одиночество.

Однажды, вернувшись с работы, Захар привычно налил чай в кружку, сыпанул побольше сахара, чтобы ложка стояла, как он говорил, взял кусок хлеба, подошёл к окну, уселся на подоконник, взглянул вниз и поперхнулся. Цветов бабы Веры не было. Чернела земля, и виднелись растоптанные кучки зелени, а мимо журчал ручеёк из прохожих-живчиков. Одни шли, ничего не замечая, а другие останавливались, взглянув на разорённый садик, но в спину толкали прохожие, и они снова торопились вперёд. Много народу проходит через двор, но никто не видел, как разорили садик, кто уничтожил цветы – эти души людские, как называла их баба Вера.

Баба Вера заболела. Сильно. Редко стала на улице появляться. Выйдет, постоит возле своего клочка земли, где так и валялись выдранные цветы, посмотрит и начинает о чём-то шептать. Наверное, прощения просила за тех, кто цветы выдрал. Даже не присаживалась, а постоит, прислушается, но никто ей не отвечал, и тогда она потихонечку уходила домой.

Захар долго наблюдал за ней и садиком. Он не любил цветы, потому что они умирают. Но жалко стало бабу Веру. Посадила полевое разноцветье и сидела вечерами, с душами разговаривала. Верила, что души всех людей переселяются в цветы. А иначе быть не может, потому что они кивают ей, а это значит, что слушают и отвечают. Но у кого-то поднялась рука. Взяли и убили души. Баба Вера разболелась. Даже с Захаром не разговаривала. Мимо идёт и не замечает. Смотрит на него, а не

видит. Окликнут – она не слышит. Одна-одинёшенька осталась в своём мирке – в этом самом одиночестве.

Захар смотрел на неё, о чём-то думая, а потом стал пропадать по выходным. Уезжал. А куда – никому не говорил. Да и поделиться не с кем было. Ни жены, ни друзей. Он тоже жил в своём мирке, как и баба Вера. Вокруг столько людей, а он остался одиноким. Поэтому чувствовал в бабе Вере родственную душу.

Но один раз, поздним вечером, когда все разошлись, а ручеёк из людей-живчиков стал потише журчать по двору, Захар появился возле клумбы, держа в руках тонкую небольшую берёзку. Присел на лавку. Закурил. Потом убрал мусор из разорённого садика. Взял саженец и невольно взглянул на крышу, где когда-то росла его берёзка – берёзка детства, которую вырвали с корнем, за которой он ухаживал, возле которой он сидел и мечтал. И сейчас в его руках было такое же тонкое и светлое деревце, как из его прошлого. Выкопал ямку. Посадил и полил берёзку. И показалось, что она качнула ветками, словно заговорила с ним. Захар опять сунулся в карман. Долго шарил, потом достал тряпицу, в которой было небольшое семечко. Он долгое время ездил по округе, разыскивая такие же семена, как у бабы Веры. Хотел для неё посадить, но семена не попадались. А многие продавцы крутили пальцами возле виска, мол, смотрите, дурачок объявился. Нормальные люди хорошие цветы сажают, а этот ищет семена полевого разноцветья, да не простого, а чтобы цветы говорить умели. И опять крутили пальцами. Дурачок, что ещё скажешь! Но однажды его остановила старушка, которая продавала на рынке всякую всячину. Остановила, а потом протянула тряпочку, на которой лежало всего лишь одно-единственное семя, и сказала, что это душа. Если её посадить на месте вырванных и ухаживать, тогда появится цветок, каких свет не видывал, потому что в него поселятся души людские. И проговорила, словно мысли бабы Веры прочитала, что цветы – это души людей. Отдала семечко и денег не взяла. Сказала, что это не покупается и не продаётся, а свыше даётся. Вернувшись, Захар посадил тонкую берёзку, рядом с ней закопал в землю вырванные цветы – убитые души людские, как старушка посоветовала, а поверх положил семечко. Присыпал землёй и плеснул воды. Покурил, посматривая на садик, потом отправился спать.

А под утро Захар проснулся. Показалось, что за окном необычный отсвет появился. Долго смотрел на стену, по которой пробегали яркие всполохи, потом не выдержал. Поднялся. Подошёл к окну. Распахнул. Выглянул и мотнул головой, не веря глазам своим. На пустом клочке земли, где он поздно вечером посадил семечко и небольшой саженец берёзки – там был отблеск. Даже не отблеск, а свет пульсировал, будто сердце бьётся: удар, пауза, снова удар и опять пауза…

Захар не удержался. Оделся и заторопился по лестнице. Подошёл к клумбе и увидел, что возле тонкой берёзки расцвёл необычный цветок с множеством лепестков, похожих на сердечки, как привыкли их рисовать. Лепестки переливались, словно живые. Пульсировали: удар, пауза, удар, пауза. И так непрерывно. И с каждым ударом на цветке появлялся новый лепесток, и непрерывно менялся цвет, словно радуга играла. Захар присел на лавку, что была рядом с садиком, наблюдая за необычным цветком. Не услышал, как подошла баба Вера. Рядом присела и что-то прошептала, а потом надолго замолчала, внимательно прислушиваясь, на цветок смотрела, потом на Захара, снова на клумбу, и медленно перекрестилась.

– Слава тебе, Господи, услышал мою просьбу, – сказала баба Вера. – Они вернулись, а я уж опасалась, что...

И замолчала, продолжая смотреть на цветок.

– Кто вернулся? – не поворачиваясь, сказал Захар.

– Души людские, – соседка ткнула пальцем.

И, раскачиваясь, стала о чём-то шептать, будто с цветком разговаривала, прислушивалась и снова шептала. Долго сидела и разговаривала, а потом взглянула на

Захара, который сидел, задумавшись, и замолчала. Мимо них торопились прохожие. Одни шли по двору, не обращая внимания на клумбу. Шагали, посматривая под ноги, и – ни одного взгляда в сторону. А некоторые с любопытством глядели на необычный цветок. Они рады бы остановиться, но сзади подталкивали, и прохожие торопились по своим делам, а Захар и баба Вера сидели вдвоём на скамейке и молчали. Они были разные, но в то же время похожие друг на друга – эти два одиночества в огромном мире. Над головами занимался рассвет нового дня, мимо журчал ручеёк из прохожих-живчиков, а перед ними разноцветьем полыхал живой цветок. Удар, пауза – новый лепесток, удар, пауза – ещё одна душа... Это души людские возвращались.

Живи, брат

Ночь. Тьма за окном. Кромешная тьма, тяжелая. Грузом неподъемным давит. Мысли медленные, тягучие, как сама ночь. Долгая она, нескончаемая. И ждешь рассвета, не как начала нового дня, а как освобождения от всего наносного, от этих мыслей ненужных, которые всю ночь в голове ворочаются и в стопки укладываются. Хорошие мысли в одну стопку, а плохие в другую. А стопка с тяжелыми мыслями всё больше разрастается, с каждым днем увеличивается и будет ли конец этим мыслям – неизвестно…

– Привет, Славик, – сказал я, услышав голос брата. – Как дела? Чем занимаешься?

– А, привет, Мишка, – хрипловато заскрипел брат, и показалось, он нахмурился от бесконечных, но одинаковых и надоевших вопросов. – А чем мне заниматься? Вроде, сплю, но в то же время не спится. Иван приедет, сделает уколы на ночь, а чуть погодя очнусь и курю до утра. Боли замучили. Места себе не нахожу. Устал я, брат. А с другой стороны, жить бы еще и жить, если подумать, но впереди дорога под уклон и билет в один конец. И с каждым днем дорога становится короче. Скорее бы отмучиться…

– Живи, брат, – немного помолчав, сказал ему. – Живи, сколько свыше отпущено. Любым путем держись. Не опускай руки. Отвлекайся. Если сляжешь, потом не поднимешься…

– Я устал жить… – опять повторил брат, кашлянул, и было слышно, как застонал, а потом не сдержался и чертыхнулся. – У меня повсюду метастазы. Грызут меня, спасу нет. Иван к себе звал, когда моя Маша умерла, а куда я пойду? Сам не сплю и другим не дам. У него семья, сам работает. Он, бедняга, и так со мной замучился. На дню по десять раз приезжает, как говорится. Ай, да что говорить! Сам же знаешь…

– Всё знаю, брат, но живи, – опять я повторил. – Ты должен жить…

Ночь за окном. Вроде, тьма, но в то же время если посмотреть, среди этой темноты повсюду светятся окна в квартирах. И за каждым окошком идет своя жизнь. Одни вернулись с улицы. Это, скорее всего, молодежь. А родители ждут их, прислушиваясь к каждому звуку в подъезде. Так всегда бывает. Это жизнь. Другие с работы возвращаются. Вторая смена закончилась. Пока доберешься на трамвае или на автобусе до города, а потом еще тащись на другой конец, если далеко живешь, вот и получается, много времени тратится на дорогу до дома. И вздыхаешь облегченно, когда открыл дверь и зашел в квартиру, а там тепло, чем-то вкусным потянуло с кухни, но главное – тебя ждут, когда вернешься с работы, и видно по глазам, что радуются, что наконец-то ты вернулся. Ожидание бывает всяким – радостным, волнующим, долгожданным, и что-то хорошее должно произойти, но бывает ожидание тяжелым, когда день вечностью кажется, когда время тянется так медленно, что, казалось бы, конца и края ему не видно – этому ожиданию. Но в то же время, оно мчится с огромной скоростью и понимаешь, что бесполезно стоять на его пути, хотя ты готов пойти на всё, лишь бы отдалить этот конец, а еще лучше, чтобы беда мимо

твоей семьи прошла, чтобы все были живы и здоровы, но, к сожалению, ничего не изменишь в этой жизни…

– Привет, брат! Как дела? – сказал я, взглянув в темное окно. – Опять не спишь? Иван давно уехал? Я тоже не сплю. Стою возле окна. Смотрю, повсюду окна светятся, и по улице люди рекой текут. И не скажешь, что ночь на дворе, – и повторил. – Ты снова не спишь?

– А, здоров, Мишка, – медленно, скрипуче сказал Славик. – Да какой сон? Уколы не снимают боль, а лишь притупляют её, словно зубы ноют и ноют постоянно. Глаза закрою и лежу. Очнусь, вроде спал, а на часы взгляну, всего ничего дремал. Устал я, брат. Болит всё. Боюсь лишний раз пошевелиться. А тебе чего не спится, брат?

– Сам знаешь, я уже который год мучаюсь бессонницей. Как заболел, с той поры не спится. Два-три часа если подремлю – это уже очень хорошо, бывает, меньше часа, а остальное время лежу, мысли перебираю, по полочкам раскладываю. Или в окно смотрю. Слушаю ночь, а летом, бывало, по звукам определяю, куда рыбаки отправились рыбачить – к мосту или на Красные берега, – и повторил. – Я привык к такой жизни, брат. Понимаю, что тебе тяжело, но ты должен терпеть… – помолчав, сказал ему, хотя понимал, что все мои советы – это пустые слова и не более того, но нужно было их говорить, и непонятно для кого – для брата или собственного успокоения. – Терпи, Славка…

– У всех людей терпение заканчивается, и у меня – тоже, – не сказал, а выдохнул Славик. – Врачи обещали, что проживу не более двух-трех месяцев, а я уж сколько времени мучаюсь и других мучаю. Видать, грехи не пускают. За время, когда я заболел, уже старший брат умер, мою Марь Иванну схоронили, а я продолжаю мучиться на этом свете. За что такое наказание, брат? – и снова не сказал, а выдохнул. – Не выдержу, остановлю сердце. Меня учили этому…

Сказал, и в трубку было слышно, как он, едва сдерживаясь, застонал, а потом снова зачертыхался. Видать, пытался повернуться на бок или подняться с дивана.

– Я тоже знаю, как это делается, но тебе нужно терпеть, – сказал я, чуть помедлив. – Это большой грех.

Я говорил брату, а самому казалось, что всё это пустые слова, ничего не значащие. Терпи, обязан, должен… Сколько не повторяй, а легче от них не станет. Это брату приходится терпеть. Он прекрасно знает, что ему осталось жить на белом свете всего ничего. Другой бы сломался, руки опустил и всё – нет человека, а брат головой бьется из-за нескончаемых изводящих болей, зубами скрипит, под корень стер их и терпит. Все стараются поддерживать его, хотя даже на мгновение представить не могут, во что обходится брату каждая минутка жизни, каким мерилом можно измерить его терпение и ту боль, которую он испытывает – этого никто не знает. Знает лишь он – брат…

– Плохо мне, Мишка, – опять выдохнул брат и повторил: – Остановлю сердце. Знаю, что грех, но уже силы не осталось. Устал я, брат…

– Не бери грех на душу, – сказал я. – На твоем Иване отразится.

– Видать, предел моему терпению пришел, – проскрипел брат, помолчал и опять повторил: – Я устал. Ты должен меня понять…

Сказал, и было слышно, как заскрипел остатками зубов.

– Понимаю… Но терпи, Славка, – опять я повторил эти ничего не значащие, как мне казалось, слова. Ведь брат же прекрасно сам всё видит и понимает, а все поголовно твердят: терпи, обязан, должен, а сами даже понятия не имеют, что это такое – терпеть. – Эта смерть отразится на Иване, а ему и так в жизни досталось, что врагу не пожелаешь. Молодой еще, но уже мать похоронил, а сейчас ты вздумал руки на себя наложить. Нельзя, брат! Ты должен терпеть. Иначе Иван будет отвечать за этот поступок. Дети повторяют судьбу родителей. И за грехи родителей расплачиваются

дети. Помни об этом. Ты должен жить, брат…

И опять: должен, терпи… Если бы можно было вместо этих ничего не значащих слов помочь чем-то другим, лишь бы унять его нескончаемую боль, лишь бы брату облегчить его страдания, я всё бы для этого сделал, как и многие другие, но всё уже бесполезно. Врачи выписали брату билет в один конец. Оказалось, легче расписаться в своем бессилии, чем попытаться помочь человеку. И остались одни слова: терпи, должен, обязан… А еще всем осталось глядеть, как на глазах умирает брат, как с каждым днем уходит из него жизнь, не оставляя ему ни единого шанса, а мы смотрим на него и ничем не можем помочь – это страшно и очень больно…

Говорили-то обо всем, а у него нет-нет, но проскочит, что устал жить и скорее бы к одному концу, и стараешься сразу же перевести разговор на другие темы, лишь бы его немного отвлечь от этих мыслей. В основном говорили ночами. Днем брат отвлекался. Ему часто звонили, чему он был рад, а бывало, заходили, а вот ночами было тяжело. Он оставался один на один со своей бедой. Я по себе знал, что это такое – быть одному, когда семья спит, а боль изводит тебя, когда горстями глотаешь таблетки, а облегчения никакого. Вроде, мыслей много, а всё чаще и чаще выплывала одна – «Скорее бы…». Так было и с братом, но его диагноз куда страшнее – это билет в одну сторону на скорый поезд, который уже не остановишь…

Ночь за окном. Темная, осенняя и ветреная, а поэтому – холодная. Слышно, как на улице завывает ветер. Вроде, окна закрыты, а в комнате сквозняк. Немного времени пройдет, и зима ляжет. А пока за окном тьма, голые ветви тревожно хлещут по стеклу, словно предупреждают о чем-то, словно что-то хотят сказать или предостеречь, и от этого на душе становится еще тоскливее и неспокойнее…

Я был первым, кому брат сообщил про онкологию. Ранним утром позвонил и рассказал, что у него нашли саркому. Сказать, что обухом по голове эта новость, – значит, ничего не сказать. Не подобрать слов, которыми можно описать состояние, когда узнал, что у брата саркома в последней стадии. И врачи пообещали ему, что проживет всего лишь два-три месяца и не более того. Врачи отказались от него. Неоперабельный. Ничего не поможет. Подобрали лекарства для него и отправили умирать домой. Брат говорил об этом, вроде бы, спокойно, а в голосе чувствовалась тоска и обреченность. Всего лишь два-три месяца, а потом…

А вечером нагрянули гости. Хотелось биться головой о стену, но мне приходилось улыбаться и делать вид, что ничего не произошло, потому что брат попросил пока никому не говорить – сам расскажет, когда время придет. И я молчал, а хотелось вскочить и крикнуть… Нет, даже не крикнуть, а заорать, о каком гостеприимстве может идти речь, когда у нашего Славика беда, что врачи пообещали всего лишь два-три месяца жизни? Два-три месяца – это мгновение, маленькая частичка времени, которое не заметишь, а для брата любая секунда – на вес золота. Очень хотелось закричать, рассказать, что произошло, но приходилось терпеть. А когда проводили гостей, я ушел в комнату, присел в кресло и, задумавшись, притих. Словно что-то щелкнуло внутри, отключая все праздники и радости жизни: как можно чему-то радоваться, если в дом пришла беда? Гости ни в чем не виноваты. Они не знали, что с братом случилась беда. Но мне, честно сказать, было не до них. Я не понимаю, что произошло со мной. Не знаю, что повлияло, но это, скорее всего, болезнь брата сыграла роль – я почти со всеми постепенно перестал общаться, а может, виноват еще мой упрямый характер. Я никого не хотел ни видеть, не слышать, кроме своей семьи и его, Славика, потому что брат был самым близким человеком из всей нашей большой семьи. Он был, есть и останется лучшим из всех. Да простят меня остальные! Славик был для меня братом, другом, наставником по жизни, с ним можно было посоветоваться или рассказать то, чего никому бы не доверил. Брат был для меня всем. И я даже в мыслях не держал, что с ним может что-нибудь случиться. А когда он заболел, я, скорее всего, сломался, замкнувшись в себе. Всё общение сузилось до

размеров семьи и до него, Славика…

– А наш Иван купил новую машину, – хрипловато-скрипуче сказал брат. – Большущая!

– Молодец, что еще скажешь, – сказал я. – Правда, я равнодушен к технике. Помнишь, после рыбалки улетели в кювет? Вот с той поры, когда в приборную доску воткнулся головой, у меня всё желание отбило к машинам. Сразу и навсегда!

И я захмыкал, вспоминая, как летели в кювет, потом сильный удар о землю и следом – головой о приборную доску, показалось, что сейчас мозги вылетят, и наступила тишина, когда открыл глаза, передо мной белым-бело – это был снег на лобовом стекле, но в голове промелькнуло, когда белое увидел, «Неужели это всё – конец?».

– У, а я люблю машины! – опять сказал брат. – На такой хорошо на рыбалку ездить. Везде пройдет. Иван подъезжал к дому, чтобы я взглянул. А что сверху-то увидишь? Эх, посидеть бы в ней! Мне бы только спуститься по лестнице, а потом снова подняться. Силы не осталось. Ноги не держат, – и снова повторил. – Эх, как же мне хочется посидеть в новой машине!

Он радовался и гордился, что сын купил новую машину, а в голосе тоска и безысходность.

Ночь за окном. Всё так же перемигиваются звезды в иссиня-черном небе, всё так же светятся окна в домах. Вдали прошумела машина. Над головой скрипнули полы. Наверное, сосед поднялся, чтобы покурить на балконе. Тьма за окном. И оттуда донеслись пьяные голоса. Кто-то вскрикнул, матюгнулся. Видать, споткнулся. А затем вразнобой затянули песню, и постепенно голоса затихли вдали. Люди веселятся, а здесь…

– Все названивают и спрашивают, как дела, как дела, словно поговорить не о чем… – заскрипел голос брата в трубке. – Будто сами не знают, как мои дела… Что каждый раз спрашивать – не понимаю…

– Не обижайся, брат, – сказал я. – Это же обычный вопрос, какой всегда задают людям. И меня спрашивали, как дела, когда я заболел. И мне было обидно, зачем это говорят, будто не знают, какие у меня могут быть дела, если сижу в четырех стенах, а людей вижу с высоты пятого этажа и отвечаю на редкие звонки по телефону. Одни мимо моего дома проходили, даже голову не поднимали, чтобы на окна взглянуть или рукой махнуть, видите ли, им тяжело на пятый этаж подниматься, а у других времени не находилось, чтобы мне позвонить. Мне ничего от них не нужно было, просто возьмите и позвоните, и задайте простой, но приевшийся вопрос, мол, как дела, а я даже был бы ему рад. Но с каждым разом звонков становилось все меньше и меньше. И никто не задумывается, что с каждым днем они все больше отдаляются от меня, а получится ли сблизиться, сможем ли опять найти общий язык – не знаю, потому что время упущено, и я этого не захочу. Дважды в одну реку не входят. Ладно, что уж говорить – это жизнь, где каждый человек шагает по своей тропке. А сейчас всё мое общение свелось к семье и тебе, брат – этого мне вполне стало хватать. Ладно, я малообщительный. А тебе каждый день звонят и звонят, а то в гости приходят. Радуйся, когда спрашивают, как твои дела. Хуже, если телефон замолчит или мимо твоего дома будут проходить, словно не замечая тебя в окне…

И опять начинались долгие разговоры. Разговоры ни о чем, но в то же время мы разговаривали о жизни. Славик чаще вспоминал прошлое – а ты помнишь, как… Помню, брат! Это «помню» останется до последнего дня и уйдет вместе с нами. А я еще вспомнил, как мать купила конфеты и спрятала от нас. Всю квартиру обыскали, чуть в школу не опоздали, а оказалось, мать сунула в бидончик и повесила на стену перед кухонным столом, где кушали. Сколько раз смотрели на него и не замечали, а когда увидели, уже всё хотенье пропало. Да, брат, помню! Мать еще нагоняй устроила, что всю квартиру перевернули. И мы смеялись, вспоминая. А помнишь, как

с тобой пешком добирались до Нугуша, а потом нас племенной бык гонял на плесе… Конечно, помню, Славка! С той поры не только быков, но и коров опасаюсь. Эх, а я бы сейчас в Васильевку подался. Ребята говорили, лещ со страшной силой идет. Съездить бы… И Славик вздыхал. Когда он заболел, Иван несколько раз возил его на рыбалку. У, как хорошо было! Брат возвращался и начинал рассказывать – «Мне рыба не нужна. Просто сидишьь возле реки или озера и прислушиваешься. Там плеснула рыба, а тут перекат заговорил. Солнце появилось, и вода заиграла. А воздух такой, что хочется вдохнуть и не выдыхать, а вокруг тебя такая красотища… Слышь, Мишка, получается, чтобы понять и увидеть эту красотищу, которую ты раньше не замечал, для этого нужно заболеть?». Брат замолчал, и казалось, будто он в душу заглядывал, словно опять побывал на том берегу речки или озера и снова увидел красоту здешних мест. А потом опять: «Эх, сейчас бы прокатнуться…» И вздыхал. А дальше принимался что-нибудь рассказывать, даже пытался смеяться, но я чувствовал тоску в его голосе. Да и как не затоскуешь, если тебе осталось жить на белом свете всего ничего. И брат прекрасно это понимал. И всё же, что ни говори, Славик все равно умел радоваться каждой отведенной ему минутке. Ну, а другие… Все знали и понимали, но каждый относился к его болезни по-своему. Кто-то начинал вздыхать, эхать и охать, и все говорили, я бы тебе помог, но не знаю, как, но ты все равно держись… Другие разговаривали, словно ничего не произошло – это и понятно. Лучше держаться на равных, чем всякий раз напоминать о беде. А некоторые приезжали к нему, чтобы просто посидеть рядышком и поговорить с ним. И видели, как он радовался гостям. Радовался каждой минутке, каждому мгновению, проведенному с ними, а то внезапно замолчит и смотрит на гостей, переводит взгляд с одного на другого, словно старается запомнить каждую черточку на лицах, а может, хотел заглянуть в душу… Нет, не в души гостей, а в свою, чтобы попытаться понять, почему же так случилось, в чем он провинился, что в его дом пришла беда и от нее никуда не денешься. Время на вес золота. И для брата каждая секунда его жизни превратилась в золотую…

За окном ночь. Долгая, тягучая. Казалось, протяни руку и можно ее потрогать. Густая и вязкая – эта самая ночная тьма. И если взглянуть, среди этой тьмы светятся окна. Много. Ночь на дворе, а люди не спят. Одни смотрят программу по телевизору, другие с работы вернулись. Устали. Поужинают или чай попьют – и на боковую. А в некоторых свет будет до утра гореть. Кто-то до утра не спит. У одних бессонница, некоторые с детьми нянькаются, а другие рады бы уснуть, но боль изводит, покоя не дает, а лекарства, какие принимают, дают лишь временное облегчение, а потом снова наваливаются эти боли, от которых никуда не денешься, хоть волком вой, хоть об стену головой…

– Ванёк со своей семьей приходил, – проскрипел Славик, и по голосу чувствовалось, что радуется он и наговориться не может. Радуется тому, что внука и внучку приводили. Пусть тяжело, а внуки – это лекарство, как говорится. – Ярик с порога стал рассказывать, как в парк ходили, как с папкой в футбол играли, сколько голов забил, а теперь он кушать хочет и его нужно кормить. Внучка-то, Настёна, постарше. Зашла, присела на диван и молчит. Я знал, что они после футбола зайдут. Потихонечку обед приготовил. Сноха принесла щи с кислой капустой. Я две ложки съел и мне хватило. Ребят накормил. Посидели немного, а потом домой отправились. Завтра рабочий день…

– А в шахматы продолжаешь играть? – спросил я. – Ты ж хвастался, чуть ли не у всех выигрывал…

– Нет, Мишка, не хочу, – опять заскрипел Славик. – Как умерла моя Марь Иванна, ничего не хочется. Она заставляла меня, теребила, а её не стало, и на душе – пустота. Раньше играл в шахматы и книжки читал, какие Иван закачал, а в последнее время даже ноутбук не трогаю. И книги перестал читать. Устал я, – и опять повторил. – Ничего не хочу…

Правду говоришь, брат, Маша оберегала семью, а когда ты заболел, махнула рукой на свои болячки и взялась за тебя, чтобы ты хоть немного, хотя бы лишний денек прожил на этом свете. У нее семья была на первом месте. Она говорила, что не сможет жить одна, если с тобой что-нибудь случится. И всегда повторяла это. Маша не хотела, чтобы ты ушел первым. Она боялась одиночества. Возвращаться домой, открывать дверь, а там никто не ждет… Долгие вечера в пустой квартире, а ночами лежать, вспоминать прошлое и ждать, чтобы побыстрее наступило утро. Наступит, а для чего? Чтобы снова одной сидеть в четырех стенах, где тебя нет? И ушла первой. Всё произошло неожиданно для всех, когда узнали, что её с высоким давлением увезли в реанимацию, инсульт, несколько дней в коме и всё. Оттуда она не вышла. И поэтому на душе было тяжело и больно.

Ночь за окном. Темная, тягучая. Светятся окна в темноте. И среди них есть и твои окна, брат. Пусть их не видно, но я точно знаю, что свет будет гореть до утра. Тишина на улице. Редкий раз проедет машина, или донесется звук каблучков, а то раздастся натужный кашель, откуда-то пахнёт табаком и – опять тишина. Куда ни глянь, светятся окна в домах. А за окном ночная мгла. Протяни руку и почувствуешь ее – вязкую, тяжелую – тоскливую.

– Привет, брат, – сказал я. – Чем занимаешься?

– Лежу, – помолчав, проскрипел брат. – Думаю…

– О чем задумался? – спросил я, поглядывая на темные окна.

– Так, ни о чем… – снова помедлив, сказал Славик. – Всякая дрянь в голову лезет. Машу похоронили, а у меня руки опустились. Знаю, нужно чем-нибудь заняться, а не хочу. И боли измучили. С каждым днем всё сильнее становятся. Не шевелюсь, как бы терпимо, а чуть повернулся и криком кричи. Жду, когда придут, уколы сделают. Вроде, становится полегче. Даже дремать начинаю, как будто сны вижу, а очнусь – и всё, словно не спал. И дожидаюсь, когда утро настанет. Уколы некуда делать. Кожа да кости остались. Кожу в пригоршню соберут, а проколоть не получается. Кожа в пергамент превратилась. Ничего не хочу. Скорее бы к одному концу, чтобы самому отмучиться и других не мучить.

– Рановато собрался туда, – сказал я, продолжая посматривать в окно, за которым прошумела машина, и снова наступила тишина. – Не знаю, Славик, не получается найти нужные слова, чтобы как-то поддержать тебя или что-нибудь посоветовать, потому что слова – это ветер в поле. Сам же говоришь, что тебе надоело слушать, когда спрашивают, как дела и здоровье. И я не хочу повторять одно и то же. И не хочу тебя учить, но если будешь лежать, долго не протянешь. А у тебя Иван с семьей, мы еще есть, знакомые и друзья. И все хотят, чтобы ты подольше пожил. Заставляй себя, брат. Через силу, через «не хочу», но заставляй. Чем-нибудь занимайся. Нужно или не нужно, но делай. Вон, твой Иван приезжает на обед. Ему что-нибудь приготовь. Пусть простенькое, хоть картошка в мундирах, а он будет доволен, и ты порадуешься, как за него, так и за себя. Внукам своим готовь. Ведь в выходной Иван с семьей приедут к тебе. Накормишь ребятишек. И они рады, и ты отвлечешься…

Я на своем опыте убедился, как сложно выбираться из депрессии, когда заболел. Словно доску из-под ног выбили. Кажется, жизнь прошла, а впереди ни одного просвета, одни сплошные черные полосы виднеются. Ничего не хочется делать, никого не хочется видеть и слышать. Сидеть на диване, закрыть глаза и чтобы к тебе не подходили. А ты будешь сидеть и себя жалеть и на других обижаться, почему у них всё хорошо, а у тебя хуже некуда. Они здоровые, а ты живешь на одних таблетках и уколах. И они, эти здоровые, не понимают тебя, больного, что тебе очень плохо. И не видишь никакого выхода из этого тупика жизни. А раньше всё было по-другому. И ты нужен был всем, и приходили, и звонили, то одно, то другое, третье, пятое, десятое. Как белка в колесе крутился, потому что нужен был, а сейчас – нет… Вот и по-

лучается, что человек нужен, если от него есть польза, а когда заболеет, о нем забывают. Пусть не сразу, но забывают. И от этого на душе еще хуже становилось. Раньше мир был разноцветным, а сейчас стал черным и угрюмым. Вот здесь-то и нужно понять и принять, что ты стал другим в сравнении с остальными и прошлую жизнь не вернешь, а нужно привыкать и учиться жить этой жизнью – сегодняшней, как бы плохо ни было.

Мне пришлось привыкать к этой новой жизни. Потихонечку, шаг за шагом, но всё же удалось вернуться в жизнь. Я понимал, что таким, каким раньше был, мне уже не стать. А чтобы привыкнуть к новой жизни, нужно чем-нибудь заниматься, лишь бы отвлечься от дурных мыслей. Мне удалось выкарабкаться, потому что у меня было будущее, а вот у брата его нет… Врачи на нем поставили огромный крест и списали. Сразу списали, когда установили точный диагноз. Окончательно и бесповоротно! Даже не попытались лечить его. А зачем? Легче подобрать лекарства и отправить умирать, чем пытаться что-либо сделать. И отправили. И ни один из них не задумался, а как же он – этот здоровый с виду человек – станет жить, тем более не думали про его семью. Жить оставалось два-три месяца, как сказали врачи. Сказали и ошиблись. Брат прожил три года и почти до последнего дня своего был на ногах. И ни один врач не произнес, что всё-таки можно было… Нет, даже нужно было рискнуть и взяться за его лечение. Они не думали, потому что списать человека куда легче, чем его лечить. Дали ему билет в один конец…

Ночь за окном. Темная и тягучая. Повсюду видны огоньки. Светятся окна, словно кому-то дорогу освещают. А может, и правда, что указывают путь. Одни из дома отправляются в дальнюю дорогу, а другие возвращаются, но везде их ждут. Ждут, когда они доберутся до места или вернутся домой. Расстаться, чтобы встретиться вновь.

…Я не спал – это точно. Я чувствовал спиной кровать, одеяло под рукой, слышал, как прошумела машина за окном, и понимал, что лежу на кровати, не сплю, но в то же время я находился рядом с братом. Плечом к плечу. Мы были не в помещении – это точно, но и не на улице. Вокруг нас было что-то другое и необъяснимое. Скорее всего, мы стояли перед порогом, так называемым. Эти пороги есть у каждого человека. Никто мимо не пройдет. Настанет его время, человек переступит через него и уйдет туда, откуда не возвращаются. У Славика онкология. Он знал, что ему предстоит уход из мира сего, и брат этого боялся, хотя и скрывал от других. Но мне говорил, что устал от всего, и скорее бы уйти, а его не забирают, видать, слишком много грехов на нем – это были его слова. Он устал. Сильно. Я чувствовал это и понимал, что ему осталось всего ничего. Он уже подошел к той черте, когда нужно решиться и переступить этот самый порог. Всего лишь шажок. Небольшой шажок, и он будет там. А я был не проводником, а кем-то другим. Скорее всего, я должен был показать, что или кто ждет его за порогом жизни. Я стоял с братом. Плечом к плечу. Он молчал. Смотрел куда-то вдаль и молчал. Я был возле него. Может быть, он бы и раньше переступил порог, но что-то ему мешало. Видать, земные дела его держали. Мы стояли, а перед нами – это я хорошо чувствовал – была какая-то преграда. Словно невидимая стена стояла, а за ней я увидел мать и его жену, Машу. Они были в кремово-охристой свободной одежде. Одежда похожа на балахоны, спадающие до земли, на головах такого же цвета платки, светлые лица, а рядом с ними был брат, Юрка, тоже в таких же одеждах, но без головного убора, и он на шаг-два находился в стороне от них, словно это пустое место было приготовлено для Славика. Ему оставалось шагнуть, и он окажется рядом со своей женой. Они стояли и молча смотрели на нас. Нет, даже не на нас, а на брата, на Славика. Молча и неподвижно, словно ждали, когда же он решится и переступит этот порог жизни. А он стоял и не шевелился. Мне не видно было, что находилось за спинами матери, снохи и брата, но там, за этим порогом, всё было словно в светло-золотистом тумане, и что-то подсказывало мне, что

там, кроме них, в этом тумане, еще кто-то или что-то есть. Много! Они не одни за порогом жизни – это точно. И все ждали брата. Скорее всего, они должны были его встретить, когда брат переступит порог жизни. Да, наверное, так и было… И мы стояли и смотрели на них. И тут я протянул руку, показал брату и сказал: «Славик, гляди, там же наша мать, твоя Маша и Юрка. Иди к ним, они ждут тебя! Иди…» Но брат стоял неподвижно. Я несколько раз повторил, чтобы он пошел к ним, но его продолжало что-то удерживать. Он никак не мог решиться на этот последний шаг, за которым будет уже другая жизнь. Порог, где оставляешь всё земное, сбрасывая с себя, словно тяжкий груз, и уходишь туда, где тебя ждут...

– Здравствуй, брат, – сказал я. – Как дела?

– А, Мишка, – едва слышно проскрипел брат и замолчал, потом хрипло выдохнул: – Тяжело мне. Вот и всё, отмучился. Отхожу я…

– Не понял, – помолчав, сказал я, а сердце затрепыхалось, заработало неровно и с перебоями.

Я понимал, о чем говорит брат.

– Тяжело мне, – через некоторое время сказал брат и снова повторил: – Вот и пришло мое время, отхожу я. Всё, брат!..

Ночь за окном. Зима на дворе, а ночи темные. Темные и тягучие, а еще – больные. И понимаешь, что ничего нельзя изменить в этой жизни, ничего обратно не вернешь. Время – это вечность, но вместе с тем оно мчится с огромной скоростью и невозможно его остановить. Нельзя его замедлить, нельзя повернуть вспять и отмотать какой-то отрезок жизни обратно, чтобы сказать… Нет, закричать громко и протяжно: «Живи, брат!» Ты должен, ты обязан жить, потому что ты – брат! Но время движется, и ничем его не остановишь. Ночь за окном. Ночь долгая, нескончаемая. Конца и края не видно ей. А в ночи светятся окна домов. Казалось, спит город, но повсюду огоньки. И за каждым окном идет своя жизнь. И там, среди этого множества огней, светилось одно окно. Пусть не так ярко светилось, но его свет был дорог для многих, который обогревал, поддерживал и помогал, если это было нужно. Многие годы горел огонек, а сейчас потух, но в то же мгновение на небосклоне появилась новая звездочка – это брат перешагнул порог, за которым его ждали. Пусть звезда не такая яркая и не каждый сможет её рассмотреть среди множества других, но любой почувствует тепло, исходящее от нее. Протяни руку и ощутишь его…

Я каждую ночь подходил к окну и подолгу стоял возле него, вглядываясь в кромешную мглу, среди которой там и сям светились окна в домах. Я стоял и смотрел на россыпь огней, словно на что-то надеялся. А рядом со мной телефон. Казалось, сейчас раздастся звонок, я поспешно схвачу трубку и услышу долгожданный хрипловато-скрипучий голос: «Ну, здравствуй, брат…» А я отвечу: «Привет, Славик!» И опять начнутся долгие ночные разговоры. О чем? Вроде, ни о чем. Будем вспоминать прошлое, говорить о сегодняшнем дне, думать о будущем, но одновременно мы будем разговаривать о жизни.

Я стоял возле окна. За окном тьма. Непроглядная и тягучая. А в небе горела звезда. Пусть не такая яркая, но протяни руку и почувствуешь её тепло. Я долго смотрел на нее, и мне хотелось распахнуть окно и закричать громко и протяжно: «Живи, брат!»

А за окном была ночь – тяжелая, нескончаемая и – тоскливая…

ГОСТЬ

ЛЕО БУТНАРУ

(Румыния)

Лео Бутнару – уроженец Республики Молдова, выпускник Кишиневского университета, профессиональный филолог и журналист, работал редактором в газете «Молодежь Молдавии», заведовал отделом в еженедельнике «Литература и искусство», был главным редактором журнала «Молдова».

В 1976 году вышла в свет его первая книга стихов, в 1977-м молодой автор стал членом Союза Писателей СССР. В 1990-1993 гг. занимал пост вице-президента Союза писателей Молдовы. С 1993 года член Союза писателей Румынии, председатель Кишиневского филиала Союза Писателей Румынии.

На сегодняшний день автор опубликовал около 80 книг оригинальных сочинений.

Стихи Л.Бутнару переведены на три десятка языков и публикуются по всему миру, Сам он также активно работает в области художественного перевода – в его переводах были опубликованы на румынском произведения Тургенева, Бунина, Хлебникова, Маяковского, Цветаевой, Мандельштама, Евгения Степанова, Веры Павловой и многих других русскоязычных классиков и современников.

Он – составитель и переводчик антологий «Русский авангард» (в 2-х томах), «Манифесты русского авангарда», «Панорама поэзии русского авангарда», а также «Украинский авангард».

Критики отмечают в его стихах сочетание классики и авангардизма, присутствие выраженной индивидуальной интонации, раскованное метафорическое мышление, эмоционально-чувственное восприятие мира.

По определению К.Ковальджи, «Лео Бутнару любит не только себя в литературе, но и саму литературу – самоотверженно и безраздельно».

ПЕРВАЯ И ЧЕТВЕРТАЯ НЕДЕЛИ

Вместо предисловия

Сейчас мне кажется почти неимоверным, что первые мои стихи о Баку я написал аж в семидесятые годы прошлого века, в конце своих студенческих лет и в начале журналистской деятельности в редакции газеты «Молодежь Молдавии» («Tinerimea Moldovei»). Наверное, поводом написать о таких далеких и экзотических тогда для меня стране и городе – Азербайджане и Баку – было желание увидеть их наяву, но повлияла, конечно, и встреча со стихами некоторых русских авангардистов, которые в начале 20-го века посещали Баку, вдохновлялись реальностями и легендами азербайджанской истории. Да и Каспийское море всегда было и остается неиссякаемым простором для художественных озарений и поэтического вдохновения. То мое первое стихотворение – «Превращение в предместьях Баку» – появилось и в моей дебютной книге «Крыло на свету» («Aripă în lumină»), вышедшей в 1976 году. Вот оно:

Пронося над городом черные тучи
утро дышало предвестием
затяжного клокочущего дождя

А в полдень – зной
и зной палящий, будто
черные тучи
как огромные цистерны с нефтью
сгорев дотла
сбросили жар свой
на наши тела.[1]

И вот наконец встреча с Баку наяву состоялась! В марте 2018 года мне посчастливилось посетить Азербайджан, увидеть его столицу. Увидеть и осмыслить вдохновляющие импульсы, исходящие от этого почти мифического края, от древнего Каспийского моря. И, конечно, тогда у меня родились стихи. Музы истории и поэзии оказались (опять!) щедры ко мне, и в сентябре-октябре 2019 года я вновь бродил по Баку, по его неповторимой набережной, жил интенсивно-эмоционально, поэтически, посетил Сумгайыт. И появлялись все новые и новые стихи об этих чудесных местах, о Каспии, о меридианах дружбы и вдохновения, они и составили эту подборку, которая для меня является знаком благодарности Азербайджану, его прекрасной столице Баку, моим друзьям – азербайджанским поэтам.

пролог

«Чтоб этот мир понять,
им восхититься надо…»
Насими

Дорогой коллега
дорогой читатель
сейчас
в этот ранний час
предлагаю вам из Баку
некоторые тексты о нем
в «окончательном ви...» –
но вы сами знаете,
в кавычках
или без них
что завершенность
как и абсолют
не существует в чистом виде –
ни в нашей натуре,
ни в природе,
а значит, и в литературе.
По-старому
по-новому
по-всегдашнему –
жизнь человека
да что там
даже жизнь атома
не что иное
как частичная индукция
Или что-то иное –
физическое
астрономическое,
незнакомое...

[1] Перевод с румынского Ивана Пилкина

чайки, осетры

иногда
чтобы взлететь
необходимо чтобы ты был распят

скажем
как застывает распятая в небе чайка
на кресте своего тела

а после
стрелой
ныряет в гребень волны
пронзая
каспийского осетра

стихи на набережной

на каспийской набережной
(можно сказать на приморском бедре метрополии)
я прогуливаю –
или может быть оно прогуливает меня –
это тело состоящее из мяса и костей
а также из мыслей
а иногда и из счастья
(возможно даже сейчас)
но чаще всего в обычном «плюс-минус» состоянии
и всем, что у него имеется:
с поездками в горы и на море
(всё реже, реже), с пит-стопами[1]
в поликлинике –
в этой тайно-циничной среде
(где в режиме нон-стоп проходят
параллельные переписи жизни
и НЕсуществования);
уходя оттуда, я чувствую,
будто немного уменьшилось
чувство недовольства жизнью
растущего от слов, что в мире
можно найти все
кроме того, что тебе необходимо

И как важно, что ты все еще находишь жизнь
по эту сторону жизни!..
Жизнь этого тела из мяса и костей

[1] От английского **«pit stop»** – буквально, «остановка над ямой», означает техническую остановку автомобиля во время гонки для проверки состояния машины, заправки топливом, смены шин и т.д. Здесь употреблено в ироническом контексте.

из мыслей
а иногда и из счастья –
ключ этой правды,
серебристо-лучистый ключ
находя этим бакинским утром
на побережье, когда,
стоя перед Богом-Морем,
внутри своего нутра, но и вовне,
я чувствую, что живу,
и что нахожусь – везде.

минимализм с красной свеклой

«Ашуг, красная свекла на твоих щеках»
Гамид Херисчи

Гостиничный ресторан. Официант
образцово обслуживая нас
объясняет –
как полезен
для снижения давления
и уровня глюкозы в крови
борщ с красной свеклой
темно-рубинового цвета

А мы из тех кто
даже в пище усматривает
эстетические проблемы –
скажем, яркую пульсацию поэзии
борща с красной свеклой
темно-рубинового цвета

Да я не из тех кто
отказался бы от борща
с красной свеклой –
благодатного
темно-кровавого цвета...

Но в Баку я предпочитаю
короля фруктов –
гранат.

черный чай

Салиму Бабуллаоглу

Гостиница «Хилтон».
Сонорное имя.
А вокруг – шумный Баку-центр.
В царстве поэзии и дружбы разговоры с Салимом

под черный чай. (Черный – до того,
что не виден даже контур ложечки в стакане.)
Этот миниатюрный
статично-водяной натюрморт,
скажем так, возвращает в мою память
молодость – и тянется к зрелости.
Тогда мы жили в империи,
клонившейся к закату,
по которому, бывало, ездили на дневных
и ночных поездах; расстояния, маркированные
стуком колес
и противостоянием горизонтов
и – пронзительно-деликатным
звоном стаканов в разных поездах:
Кишинев – Киев –
Москва – Ленинград – Таллин...
и так далее.
Стакан с черным чаем (тогда, наверное,
зеленый был еще не апробирован и не разрешен ЦК...)
бившемся в подстаканник из мельхиора
в том поезде, что шел к другой вселенной,
к другой карте
с независимым Азербайджаном на ней,
к гостинице «Хилтон»,
к великолепному черному чаю,
который навевает свободные воспоминания
здесь,
где пророчески миру вещал Заратустра.

Янардаг[1]

Вугару Новрузову

Легкий скат холма. Внизу –
пламя, вырывающееся из земли.

В утреннем свете
на холме –
антрацит булыжникообразных ворон.

Спускаемся
проходя мимо пасеки:
даже если у кого-то нимб
понятно, что это не святой –
просто пчеловод с ореолом из пчел над головой
Он человек – и он же монумент.

[1] **Янардаг – «Горящая гора»** (азерб.) – название одной из достопримечательностей Азербайджана, известнякового холма, расположенного в 27 километрах от Баку, с гребня которого поднимается примерно на метр в высоту и простирается примерно на десять метров в ширину природный вечный огонь, горящий здесь с древнейших времен.

Спускаемся.
Труднее подняться снова –
ведь среди нас
есть коронованные поэты, их рано
короновала коронография...
Можно сказать,
они коронованы пурпурной каллиграфией артерий –
со стендами и байпасами[1]
Так что нам нет-нет
нужны остановки.

Спускаемся.
А чтобы нам вернуться наверх –
обнадеживает мысль, что в Стране Огня
даже птица Феникс воскресает из пепла,
возвращаясь из уютного пламени мифа...
О молодости без старости
и жизни без смерти.

апельсины, гранаты

Возвращаюсь, припозднившись, в гостиницу
На подоконнике
луна чистит от кожуры апельсины
Запускаю компьютер.
Facebook спрашивает, о чем я думаю.
Хочется ответить, что о доме –
о Кишиневе... Но компьютер не поймет,
и я возвращаюсь к мысли –
о чистке апельсинов...
Кстати,
если бы художник Возрождения увидел тебя
с апельсином в ладони –
он бы недели две работал, чтобы передать тебя,
в то время, как художники наших времен...
Да что говорить!..
Раз-два, раз-два! –
кистью по холсту
и подоконнику...

Через четыре-пять часов
заря примется чистить на нем спелые гранаты,
кстати – уже не в первый раз
гарантирующие вдохновение...

[1] От английского **«bypass»** – буквально, «обходной путь»; термин, применяемый в медицине при проведении шунтирования коронарных сосудов и т.п.

эпилог

Заря величественно поднимает веко горизонта –
и замечает нас здесь, на набережной.

Постепенно состоится
восход солнца –
исполняя ритуалы,
в числе которых его (солнца) грандиозное появление:
освещаются, удлиняясь, пространства,
и кажется, что горизонт в процессе дешифровки,
снятия грифа секретности,
чтобы показать себя всем четырем сторонам света,
и всем морским бризам –
ясным и понятным всем,
упрощая сложные вещи,
которые сложны лишь ввиду
некомпетентности мечтателей
и – частично – философов,
продолжающих разбрасываться тезами и антитезами
о рассекречивании горизонтов...
Выстроенные вдоль по вертикалям
и горизонталям позвоночника –
этого внутреннего обелиска человека –
устремленного ввысь, отмечали мы,
или, к сожалению, поваленного
бременем жизни или бременем смерти,
всеми понятными
и непонятными вещами на свете...
Горизонт, который иной раз может предстать иным,
но, с другой стороны,
он всегда остается границей
между нами, землянами –
и Невозможным.

март 2018, Баку

Перевод с румынского Владимира КОРКУНОВА и автора

ИСТОРИЯ ОДНОЙ ПУБЛИКАЦИИ

От Гасана Азиз-оглу Гасанова

Разбираясь в своих бумагах, обнаружил этот очерк, подготовленный в 1980г. корреспондентом «Литературной газеты». Статья тогда не была опубликована. В 2021г. мне удалось найти автора и между нами завязалась переписка, которую я привожу здесь. Еще тогда, в 1980г., я обратил внимание на смелый, нетрадиционный стиль этого журналиста и сожалел, хотя не удивился тому, что он оказался «диссидентом», когда это уже не было «модно».

Из моего письма: «Уважаемые Юрий Сергеевич и Ольга-ханым! Пишу Вам из Азербайджана, зовут меня Гасан Азизович (Азизоглу) Гасанов. В течение многих лет я работал на разных ответственных должностях. Недавно мне исполнилось 80 лет и я решил разобраться в своем архиве. Обнаружил рукопись журналиста из «Литературной газеты», Юрия Аракчеева. Это был очерк обо мне, написанный в период, когда в 1980 году я был Депутатом Верховного Совета СССР и работал Первым Секретарем Кировабадского горкома партии. Сейчас город восстановил свое историческое название – Гянджа. Я хорошо помню Юрия Сергеевича! Мы с ним общались, а по итогам командировки он представил мне эту рукопись и сказал, что хочет опубликовать материал в «Литературной газете». Тогда я был молодым, это был период, когда не очень поощрялась хвальба партработника в прессе, тем более в таком авторитетном издании. Я буквально упросил его не публиковать очерк обо мне, он согласился и великодушно подарил мне его в машинописный варианте. Отправляю Вам обнаруженный мной текст, если Юрий Сергеевич вспомнит те времена, буду благодарен, а если еще что-либо добавит к этому тексту (например...40 лет спустя...), буду счастлив. Жизнь моя была очень напряженная и я сожалею, что лишь сейчас, спустя 40 лет, я вспоминаю об уважаемом Юрии Аракчееве. Пишу Вам сейчас не с какой-либо просьбой, а в знак благодарности за те слова, которые Юрий Сергеевич тогда написал обо мне. С уважением, Гасан Гасанов».

Получил ответ: «Уважаемый Гасан Азизович! Естественно, меня очень порадовало Ваше письмо, хотя статья о Вас так и не была опубликована. Но я помню, как искренне удивило меня то, что в статье описано. Именно деятелей такого характера, как Вы, не хватало в нашей стране. Что касается моей литературной и журналистской работы, то в начале 90-х в связи с публикацией моей повести «Пирамида» в журнале «Знамя» (№8-9, 1987), а также статей, мне был фактически вынесен «запрет на профессию» и мои рукописи перестали публиковать. Но я продолжал и продолжаю работать, появляются некоторые мои статьи в интернете о том, что происходит сегодня в нашей стране. Жаль, что в нашем правительстве что-то не видно таких людей, каким увидел я Вас тогда в Кировабаде. Вот это я и могу добавить к тому, что было написано тогда. Всего Вам самого доброго, а главное здоровья и бодрого настроения. С уважением, Юрий Аракчеев».

Вскоре я получил еще одно письмо от супруги Ю.Аракчеева, Ольги Валеевой. «Спасибо Вам большое за память и письмо. Очень интересно было прочитать статью Юрия, впрочем, я эту историю уже знаю, он упоминал о ней в своих работах. Нашла этот фрагмент в повести «Прорыв» – про ту поездку. И еще один – в романе «Поиски Афродиты». Так что мы с вами заочно знакомы давно! С уважением, Ольга Валеева».

Представляю вниманию читателя очерк написанный в 1980г. по заказу «Литературной газеты» и не опубликованный там по некоторым советским стереотипам, а также попытки Юрия Аракчеева реанимировать свои азербайджанские наблюдения тех лет в своих последующих произведениях.

ЮРИЙ АРАКЧЕЕВ

«МИР ДОБРОМ УКРАСЬ»

295 каменных ступеней вверх от родника... Еще несколько десятков шагов по заросшему травой склону... Сказочное видение открылось нашим глазам. Гладкое зеленоватое озеро, словно тщательно отполированный изумруд в оправе из гор. Завороженные деревья смотрят в это зеркало. Только бабочки яркими огоньками вспыхивают иногда на прибрежных склонах, да легкий ветерок нет-нет,а всколыхнет неподвижные воды, бросив на изумрудную поверхность горсть серебра.

Марал-гель. Оленье озеро. Очертания его, если смотреть сверху, с одной из окружающих гор, напоминают профиль головы оленя.

А в нескольких километрах и чуть ниже удлиненное, слегка изогнутое темно-синее зеркало другого озера. Гей-гель – Голубое озеро. Говорят, что Алексей Толстой, побывав здесь, назвал Гей-гель «матерью всех озер».

«Когда я впервые увидел Гей-гель, оно снилось мне несколько лет, – признается Алтай Мамедов, азербайджанский писатель и драматург, высокий, красивый человек с черными смоляными усами. – А теперь снится Марал-гель, я увидел его недавно».

Мне тоже снится теперь озеро Марал-гель, зеленое, сказочное. Поразительно, что оно сохраняет свой изумрудный цвет даже в пасмурную погоду.

Мощное землетрясение 1139 года разрушило древнейший город Гянджу, но подарило Азербайджану семь горных озер, чудо природы. В частично восстановленной Гяндже в 1141 году родился один из величайших поэтов Востока Низами Гянджеви.

Теперь древняя Гянджа переименована в Кировабад. Население – почти четверть миллиона.

Прием в горкоме партии

– Этот гражданин, так называемый мой брат, заявляет, что...

– Он ваш родной брат?

– Да, так называемый родной...

Пожилой возбужденный человек продолжает, и выясняется суть конфликта. Родные братья, живущие в одном доме вместе с матерью, не поделили приусадебный участок. Старший брат, который формально владеет участком, возражает против того, чтобы его младший брат и мать проходили по «его территории» в свою половину дома...

– Где сейчас ваша мать? – спрашивает депутат Верховного Совета СССР, первый секретарь Кировабадского горкома партии Гасан Азизович Гасанов, ибо именно в его кабинете решается этот конфликт, именно к нему на прием записался человек, владелец участка.

– Она внизу сидит, – отвечает младший брат владельца.

– Позовите ее сюда.

– А жену можно позвать? – нерешительно спрашивает владелец, желая, очевидно, сохранить количественное равенство сил.

– Жену, мать, племянницу, тетю – всех зовите, – говорит первый секретарь.

Мелкая, некрасивая история, однако сейчас она занимает умы нескольких людей, и необходимо разобраться, людям этим помочь, и чтобы обязательно восторжествовала справедливость. Братья выходят. А на пороге кабинета появляются двое. Пожилой, плохо выбритый мужчина – кладовщик сельской больницы, который выступает в роли истца – и импозантный, подтянутый человек, ректор Кировабадского сельскохозяйственного института. Пользуясь юридической терминологией

будем называть стороны «истцом» и «ответчиком».

Истец обратился к первому секретарю с жалобой на то, что его сына, якобы, незаконно отстранили от приемных экзаменов в институт... Утром он уже был здесь, в кабинете, однако конфликт потребовал тщательного разбирательства, и вот теперь вместе с ним пришел ректор. На «очной ставке» выясняется: кладовщик действовал не по закону, его претензии лишены основания.

– Лгать не надо, – говорит первый секретарь. – А вы солгали дважды: когда назвали себя колхозником, хотя на самом деле вы кладовщик. И когда представили фиктивную справку. Лгать не надо. До свидания...

Возвращаются братья, с ними мать и жена одного из братьев, а также специально вызванные на прием начальник ЖЭКа и участковый милиционер.

– Это ваша родная мать? – для начала спрашивает первый секретарь «истца».

– Да, моя мать... – потупился тот.

Далее последовала сцена, годная для съемок неореалистического фильма, но вот что удивляет больше всего: при всем накале страстей каждый из участников сцены говорил в свою очередь, не перебивая другого, и в этом чувствовалось особое уважение к первому секретарю.

Справка. В этот день на прием к первому секретарю горкома записался пятьдесят один (!) человек. Так бывает каждый четверг. И хотя официальные часы приема с 10 до 13, депутат Верховного Совета не уходит до тех пор, пока не примет последнего посетителя. Бывало, что такое случалось за полночь. Главный принцип: конфликт должен быть решен тут же, на приеме, в этот же день, с привлечением всех заинтересованных лиц. Никаких «приходите через недельку», «потом разберемся», «подумаем»...

Как же был решен конфликт между братьями?

– Раз вы не можете поделить участок между собой, и он является яблоком раздора, значит, придется снести забор на вашем участке и разбить там маленький городской сквер.

Вот к такому выводу приходит первый секретарь, внимательно выслушав всех.

И тут же звонит в исполком. Когда же все участники сцены уходит, он вновь соединятся с исполкомом и добавляет: забор надо снести, но не надо торопиться. Может быть, они еще помирятся. Забегая вперед, скажу: пожилые люди, годами жившие в противоестественной вражде, действительно начали искать путь к сближению.

Свидетельство. Я говорил со многими в горкоме, много хороших слов слышал. Лучше всех сказала, пожалуй, Тамилла, красивая женщина, экономист исполкома.

– У нас в городе теперь не умеют врать. Каждый знает, что его напрямую сведут с тем, на кого он наговаривает. И волокиты нет никакой. Обстановка очень здоровая.

Писатель Алтай Мамедов добавил:

– Благодаря этим приемам, в горкоме партии за последнее время резко сократилось число жалобщиков. Анонимщиков практически нет. Главное, люди поверили в справедливость. Адская это работа – выслушивать жалобы. Но, с другой стороны, через этих людей первый секретарь хорошо знает о том, что делается в городе.

Память о прошло

В центре города, рядом с Горкомом партии, на фронтоне красно-кирпичного здания с национальным орнаментом – шахматные фигуры. В половину человеческого роста беломраморные конь, слон, ладья, король, королева. Двери дома гостеприимно открыты. У дверей табличка: «Шахматная школа».

– В эти фигуры играл еще сам Низами, – говорит молодой человек, директор школы.

Поэт и философ Востока – высший авторитет. Нет в Кировабаде человека, который не знал бы о нем и не чтил бы его память.

...Рядом с Шахматной школой, где, кстати, учатся 340 ребят в возрасте от 5-ти до 11-ти лет, на соседней улице – Музей древней скульптуры. Фигуры животных, созданные неизвестными мастерами несколько столетий назад и раньше разбросанные где попало, собраны в одном месте и живописно расставлены прямо под открытым небом.

Вероятно, это единственный музей такого рода в Советском Союзе.

...Мечеть из красного кирпича – национального строительного материала азербайджанцев – с мощным серебристым куполом, напоминающим планетарий. Ажурная железная ограда, а внутри, вокруг мечети – каменная плитка и множество цветов. Розы. На двери мечети надпись: «Целебный цветок». Входим в просторное помещение. Чисто, светло. Нас встречает аромат трав и... пение соловья.

Это – аптека. Здесь продаются только травы. Ромашка, шалфей, мята, липовый цвет. Пение соловья – магнитофонная запись.

Аптека открыта совсем недавно, но уже пользуется успехом у горожан. Травы стоят недорого. Но в горкоме поговаривают о том, чтобы отпускать их бесплатно.

Один из первых интернационалистов Востока Низами все же не очень широко известен у нас, мало и не всегда хорошо переведен. Однако в суровом 1941-ом году в блокадном Ленинграде по инициативе Николая Тихонова был отмечен 800-летний юбилей Низами, и в теперешнем Кировабаде очень гордятся этим событием.

Для первой постановки в открывшемся год назад Театре поэзии имени Низами Гянджеви выбрали кировабадцы рассказ славянской царевны из «Семи красавиц».

– Низами – первый из поэтов Востока писал о славянах, заметьте. И когда? Еще в 12-ом веке! – эмоционально говорит Гасан Азизовнч Гасанов. – Любопытная деталь: славянская царевна одета во все красное. Уже тогда Низами связал со славянами красный цвет. Еще одна деталь: в поэме «Искандер-Наме» Низами повествует о неслыханной вещи: славяне побеждают войска Александра Македонского! Вообще, если внимательно читать Низами, можно найти много очень верных пророчеств...

Не только меня, всех, кому довелось беседовать с Гасановым, поражает эрудиция первого секретаря, черноволосого, голубоглазого, совсем еще молодого человека (ему нет и сорока лет).

– С художниками он говорит как художник, с архитекторами – как архитектор, со строителями – как строитель, – так сказал о нем Ильяс Бархударович Кулиев.

– И вот посмотрите, что еще любопытно, – увлеченно продолжает Гасан Азизович. – Гянджа дала миру такого гиганта, как Низами, хотя она никогда не была ни «столицей мира», как, например, Самарканд, родина Алишера Навои, ни столицей страны, как Тбилиси, давший миру Шота Руставели. А ведь еще в Гяндже жила Мехсети – свободолюбивая женщина-поэтесса! История города формирует образ его жителей. В Кировабаде можно встретить человека, который записывается на прием к первому секретарю с жалобой на то, что где-то на улице растет чинара, которой 280 лет, а ее плохо поливают...

На основе традиции

Прием в горкоме был прерван на двадцать минут, потому что ровно в полдень состоялось совещание в кабинете первого секретаря.

На совещании присутствовали заведующие библиотеками города, ответственный секретарь зонального отделения Союза писателей Азербайджана, доцент Педагогического института имени Зардаби Алтай Мамедов, известный библиофил Кировабада Керим Тагиев, инструктор горкома Наги Абдулазимов и другие представители интеллигенции.

Всего человек двадцать.

– В перерыве между заседаниями сессии Верховного Совета я зашел в Ленинскую библиотеку в Москве, перебрал там все, что есть о нашем городе, – начал первый секретарь без всяких предисловий. – И нашел вот такую книжечку: «Отчет о состоянии общедоступной дешевой библиотеки-читальни, открытой в Пушкинские дни в городе Елизаветполе, за период с 20 мая 1899-то по 1 января 1900 года». (Елизаветполь – одно из бывших названий Кировабада). Почему бы и нам не открыть такую читальню? Место есть. Я вчера нашел. Старый клуб, заброшенный. Там сейчас склад. Стеллажи есть, столы есть на первое время. Не возражаете? Нужно срочно создавать фонд. Я думаю так: пусть это будут книги Пушкина и о Пушкине, верно? А еще лучше так: читальный зал Низами Гянджеви и Александра Сергеевича Пушкина. В октябре в Баку будет интернациональная конференция писателей, вот и можно открыть библиотеку с их участием...

В пять часов того же дня, встретив в коридоре исполкома директора одной из библиотек, Гасанов спросил у нее:

– Ну, что вы уже сделали для создания новой читальни?

На следующий день утром начало фонду, состоящему из частных пожертвований, было положено. Первыми книги принесли Керим Тагиев и Наги Абдулазимов.

...А в медресе Шарафханлы 19-го века сейчас активно ведутся реставрационные работы. Это будет постоянное помещение Национального фольклорного хора.

Гасанов:

– Мы стараемся не просто восстанавливать памятники старины, но, по возможности, использовать их. Восстанавливать же непросто. Чтобы расчистить территорию бывшего медресе Зардаби, где идут теперь спектакли Театра поэзии имени Низами, пришлось снести восемь старых глиняных домиков, дать новые квартиры восьми семьям, вывезти горы земли и мусора.

...А еще сокращается число пивных и ресторанов. На одном из последних пленумов горкома спросили: – Мы закрыли восемь ресторанов в городе. Кто-нибудь заметил?

Присутствовавшие удивленно переглядывались: в городе отнюдь не стало скучнее. Наоборот.

...Еще одна улица недалеко от центра. Вот он, старинный красно-кирпичный караван-сарай. О нем говорили на заседании исполкома: до недавнего времени в помещениях этого бывшего постоялого двора ютились шашлычная, хашная, пивная. А на втором этаже этого здания педучилище, где учатся сотни девушек.

Теперь на территории караван-сарая идут – не идут, кипят! – расчистные и реставрационные работы: здесь разместится киностудия. И музей.

Музей будет называться «Женщины Азербайджана». А в соседнем здании, на втором этаже педучилища, уже открылся музей поэтессы Мехсети Гянджеви. И это прекрасный символ: музей одной из первых свободных женщин Востока (если не самой первой) в стенах современного педагогического училища...

«Главное – кадры»

Примечательно, что возрождение памятников старины, бурное строительство объектов культуры никак не идет в ущерб экономике города. Средства – те же, что и раньше, только раньше они почему-то не осваивались полностью. По итогам же социалистического соревнования за прошлый, 1979-й год, город получил переходящее Знамя ЦК КПСС, Совета Министров, ВЦСПС, ЦК ВЛКСМ.

– Главное в нашей работе – кадры, – говорит Гасанов. – Главное, чтобы каждый человек был на своем месте. Тогда будут и культура на высоте, и экономика, и бытовое благоустройство людей. Воспитание, подбор, расстановка руководящих кадров – это самое важное.

«Принципиальный, последовательный, бескомпромиссный, целеустремленный курс на повышение ответственности кадров за порученный участок, на утверждение ленинских норм в партийной и государственной жизни» – вот главный принцип нашей работы, сформулированный первым секретарем ЦК КП Азербайджана Г.А.Алиевым. Все, что делается в нашем городе сейчас, делается под флагом этого курса. Почетный строитель Ильяс Бархударович в роли председателя горисполкома – пример подбора кадров по такому принципу. Отсюда и считаем, что не ошиблись...

Вы только представьте себе: за девять последних лет в Азербайджане создан промышленный потенциал, равный потенциалу, созданному за всю историю существования страны! Впечатляет. Не правда ли?

Нефть – был наш главный и чуть ли не единственный продукт. А теперь лавиной пошло у нас развитие электротехники, электроники, машиностроения – причем, тонкого, точного! То же самое в сельском хозяйстве. Винограда собираем больше миллиона тонн, а десять лет назад весь Азербайджан давал всего лишь 70-80 тысяч тонн. Столько, сколько дает теперь средний – не передовой, а средний район. Передовой дает до ста двадцати тысяч... Бурное развитие Азербайджана во всех отраслях в настоящее время объективно отражает и развитие общества в целом.

Неслучайно ведь принято постановление ЦК партии о Низами...

Создан Театр Поэзии имени Низами...

Зажглись скрытые в цветах плафоны и разноцветные прожектора во дворе медресе Зардаби (что означает «Золотая вода»), осветив царский трон в одной из ниш, предметы старинного обихода...

И тотчас, безо всякого специального приглашения из окрестных домов в ажурные железные ворота медресе повалил народ. Мужчины и женщины. Молодые и пожилые. И, конечно же, дети. Больше всего детей... Те, кому не хватило мест, остались на тротуаре, прильнув к решетке ограды. Некоторые влезли даже на деревья.

Театр поэзии имени Низами давал очередной спектакль. Поэма «Семь красавиц», притча «Добро и зло». Сценарист Эльшад Мамедов, сын Алтая Мамедова. Режиссер – Аладдин Исмаилов, тоже совсем еще молодой человек. Роли исполняют профессиональные артисты городского театра и непрофессиональные актеры и танцовщицы, на общественных началах.

Все собрались, расселись. Зазвучала музыка – увертюра. Зрители затаили дыхание...

Да, это было прекрасно. Двор старинного медресе. Над головой яркие азербайджанские звезды. Тепло. Аромат кипарисов и роз. Затихла музыка, и из ниши вышел к народу... сам Низами, молодой и красивый. В белой национальной одежде.

– Добро и зло всегда существовали в мире и долго еще будут существовать... Я расскажу о встрече добра и зла, чтобы добро всегда побеждало зло...

Весь спектакль выстроен так, что, оставляя в неприкосновенности идеи Низами, он обращается к нам, современникам. Задача режиссера и актеров не в том только, чтобы показать давно отжившее прошлое, но чтобы говорить о добре и зле в настоящем. Низами поразительно современен во многих своих высказываниях и предостережениях.

Человек двумя делами добрыми спасет
Душу: пусть дает он много, мало пусть берет...
Только тот достоин вечный славы, кто добра
Людям хочет, ценит правду выше серебра...
Мудрый, будь полезен людям, мир добром укрась!
Это – выше всех сокровищ и сильней, чем власть.

Неожиданным и прекрасным видением в горах стало для меня Марал-гель, Оленье озеро. Я не слышал раньше о нем. Оно – мое открытие Азербайджана.

И так же могу сказать о Кировабаде. Удивительные люди, удивительный город.

Многое мне не удалось передать в этом очерке. Не упомянут даже «мемориальный парк», расположенный в одном из новых районов, в закладке его – на общественных началах! – участвовало буквально все население Кировабада. Не сказано о спортивном комплексе в этом парке, который также хочется назвать «олимпийским объектом». Не описал я и новое помещение библиотеки имени Ленина, которое так символически контрастирует со старым, и очаровательных женщин, которые в этой библиотеке работают. А есть и Музей песни, Художественный салон, Музей и Мавзолей Низами Гянджеви, Галерея детского рисунка, Дворец пионеров. И многое, очень многое еще будет...

Но главнее всего – люди, которые там живут. И та атмосфера, которая создается ими.

Фрагмент из повести «Прорыв» Юрия Аракчеева

«...Очерк мой был о поездке в Азербайджан, в город Кировабад (бывший Гянджа), на родину одного из крупнейших поэтов и философов Востока Низами Гянджеви. По счастливому стечению обстоятельств в городе этом происходили весьма любопытные события в последнее время, как, впрочем, и вообще в Азербайджане. Это официально называлось так: «Принципиальный, последовательный, бескомпромиссный, целеустремленный курс по повышению ответственности за порученный участок работы». Вот такая длинная формулировка – и в отношении Кировабада тоже. Естественно, как и все официальные лозунги того времени, она воспринималась скептически, однако, приехав в Кировабад и начав знакомиться с тем, что там происходит, я постепенно стал убеждаться, что кое-что толковое и соответствующее этому лозунгу действительно существует – не знаю, как во всем Азербайджане, а вот в Кировабаде – на самом деле.

Упомянутый «курс» воплотился здесь, например, в том, что полтора года назад первым секретарем Горкома, а значит, фактически хозяином города стал человек действительно неординарный – молодой, широко эрудированный, культурный и, кажется, на самом деле добрый. Короче – живой. Я повидал за время своих командировок немало партийных работников, но никого, подобного ему, пока не встречал, и существование именно такого человека в роли хозяина города было фактом весьма удивительным. Весь город, как говорили, был в него прямо-таки влюблен, и я сам не раз убеждался, что при одном упоминании его имени лица людей светлели.

Первое, что бросалось в глаза при знакомстве с городом, – особенно внимательное, пристрастное, можно сказать, отношение к памятникам старины вообще, а особенно – к тем, что связаны с именем Низами Гянджеви. Причем, было ясно, что отношение это стало проявляться совсем недавно, а именно – полтора года как. Восстанавливались и расчищались мечети и медресе – вместо ресторанов, шашлычных, хашных или даже складов, которые были в них раньше, размещались там теперь музеи или, к примеру, аптека лекарственных трав с таким вот названием: «Целебный цветок». Или Любительская киностудия. Или Национальный фольклорный хор. Или даже – Театр поэзии имени Низами Гянджеви...

Вообще же не только внимание к старине ощущалось в городе, но и внимание к жизни вообще, к человеческим, а не исключительно «социалистическим» радостям. К культуре. К искусству.

В это даже не верилось поначалу, казалось очередным показательным «мероприятием», однако чем дальше, тем больше я убеждался в реальности происходящего. Например, дважды довелось мне побывать на приемах граждан в кабинете

первого секретаря, и то, что там происходило, опять удивило меня. Если кто-то из записавшихся на прием жаловался на кого-то, первый секретарь непременно вызывал в кабинет того, на кого жаловались – будь это директор школы, начальник ЖЭКа, милиционер, следователь, директор предприятия, ректор института или даже судья. Первый секретарь ценил чужое время, избавляя обиженных от бесконечной волокиты, он, видимо, вообще понимал, что такое жизнь человека – в отличие от многих и многих своих коллег, «товарищей по партии»... Он понимал, в частности, что для человека правда важнее даже, чем хлеб, и никакое добро без нее, правды, не имеет смысла. «Соломонов суд»? Да, именно! И в наших, советских, условиях это далеко не самое худшее. Ведь каждый, по крайней мере, имел на него право, и каждый получал «очную ставку»...

И все это, повторяю, происходило в городе, который раньше назывался Гянджа и был родиной Низами. Что это за поэт, я, к своему стыду, до того времени имел представление смутное, но здесь, кажется, по-настоящему познакомился с ним – и, в частности, от начала и до конца прочитал одну из пяти его знаменитых поэм, а именно – «Семь красавиц». И не только прочитал, но и не поленился выписать строчки, которые особенно меня тронули.

«Разум главный наш помощник, наш защитник он, муж разумный всем богатством мира наделен... Создан не для пожиранья мяса и хлебов человек, нет – он источник умственных даров... Вникни, мудрый, в суть растений, почвы и камней, вникни в суть существ разумных, в суть природы всей, – и в любом живом творенье можешь ты открыть главное, что и по смерти вечно будет жить. Все умрет, все сгубит время, прахом истребя. Вечно будет жить познавший самого себя. Обречен на смерть, кто сути жизни не прочтет, но блажен себя познавший: будет вечен тот... Человек двумя делами добрыми спасет душу: пусть дает он много, мало пусть берет... Только тот достоин вечной славы, кто добра людям хочет, ценит правду выше серебра... Ибо в той стране, где правду властелин хранит, делается тёрн плодами, золотом – гранит, и железо обретает свойства серебра»...

А вот и еще одно, символическое:

Не смотри на взлет надменной башни в облаках,
Помни, что и эти стены обратятся в прах...

Описываемые в моей повести события относятся ко времени самого начала восьмидесятых – они еще из той, «советской» жизни, которая канула, кажется, безвозвратно, – однако, я убежден, что суть этих событий не утратила значения и теперь, в эпоху, как все думают, иную. А Низами и вовсе жил и сочинял свои поэмы около восьмисот лет назад... Столько поколений сменилось, а люди, по сути, остались те же. Сколько умных людей писало все о том же и после него, но... Все признают, что мудрецы, философы, писатели правы, однако... Что же мешает людям жить по-человечески – по совести, по уму?... Настоящим открытием была для меня поездка в Азербайджан. Настоящим открытием стал для меня Низами...И тем более приятно – уместно! – было сочинять мне свой очерк здесь, в курортном поселке у южного моря. Где сама обстановка располагала, и где происходили столь приятные события моей жизни... Хотя очерк и должен был быть не о Низами вовсе (к сожалению...) и не о первом секретаре Горкома города Кировабада, а – о председателе Горисполкома, депутате Верховного Совета СССР, бывшем каменщике, тоже, надо сказать, неплохом человеке... Однако неплохом, главным образом, в отношении «производства». И свободно писать этот очерк я не мог. То есть, мог-то мог, но тогда надежды на его публикацию не было бы никакой ровным счетом. Как уже говорил, я не первый год имел дело с нашими советскими газетами и журналами и отлично знал, кто в них сидит, и кто ими руководит, и что им от нас, журналистов и писателей, нужно.

Протиснуться сквозь ряды «хозяйчиков» жизни с моими «легкомысленными» размышлениями и – особенно – размышлениями о женском и о красоте природы было практически невозможно. Для них такое всегда либо «ни о чем», либо крамола – то есть: «Не пройдет!» Но хоть что-то хорошее протащить все же очень хотелось. Во всяком случае, я изо всех сил старался…

И еще один фрагмент, уже из романа «Поиски Афродиты» *– где тоже упоминается та поездка, в другом контексте.*

«…Вообще-то я писал не рассказ, а очерк. Точнее – из очерка пытался сделать рассказ. Дело в том, что от «Литгазеты» в августе ездил я в командировку в Азербайджан, чтобы написать «портретный очерк» об одном хорошем человеке, председателе Горисполкома. На манер, естественно, «правдинских»… О «Высшей мере» в газете, можно сказать, вообще забыли, а командировку предложили от другого отдела – позвонили совершенно независимо, просто потому, что в «Правде» читали… И я согласился, потому что тема показалась интересной: будущий герой очерка – из «простых», порядочный, выбился, как будто, по-честному. К тому же в Азербайджане я никогда не бывал, а предстояло посетить не только столицу Баку, но и древний город Кировабад, который всю жизнь до советской власти назывался Гянджа и был родиной великого поэта Низами. Поездка, естественно, получилась удачной – как вообще-то любая поездка, если без катастроф (о чем я уже говорил), – меня даже свозили в горы к «жемчужинам природы» Азербайджана, озерам Гёй-Гёль и Марал-гёль, и, между прочим, шофер с сопровождающим ждали меня почти по часу около каждого, пока я фотографировал сапфировую (Гёй-Гёль) и изумрудную (Марал-Гёль) жемчужины с разных сторон и пытался отыскать в их окрестностях каких-нибудь красивых бабочек, особенно желанного Аполлона. И вот что интересно: я ведь не врал спутникам, не пудрил мозги, а честно сказал, что фотографирую красоту и хотел бы здесь найти бабочку, потому что буду книжку писать под названием «В поисках Аполлона» – о бабочках. Разумеется, это никак не соотносилось с серьезной темой серьезной газеты, но они, два азербайджанца, один молодой, а другой средних лет, вполне меня поняли. И пошли навстречу. А сопровождающий, между прочим, был не таким уж и маленьким партийным чиновником – инструктором Горкома.

Очерк я написал быстро, он мне нравился, но в газете его хотя и набрали в типографии, однако же в конце концов зарубили. Завотделом (считавшийся у них, между прочим, передовым «демократом») сказал, что, во-первых, надо бы побольше цитировать не поэта Низами, а Генерального секретаря Л.И.Брежнева (ну, например, его эпохальные высказывания об Азербайджане и еще что-нибудь из последних выступлений), во-вторых, я слишком что-то восхищался в очерке тем, что Первый секретарь Горкома Кировабада ввел этакий странный обычай, известный со времен царя Соломона: вызывать конфликтующие стороны и тут же демократично вершить суд по справедливости, независимо от того, какой пост занимает одна из сторон (а что, если он высокий партийный или хозяйственный деятель, разве можно его считать неправым? А в Кировабаде бывало такое, и я, видите ли, одобрял…). И в третьих, вообще что-то слишком часто я называл советский город несоветским именем Гянджа и выискивал там элементы старинной культуры».

АЛИНА ТАЛЫБОВА

ПЕРЕВОДЫ ИЗ АНГЛИЙСКОЙ И АМЕРИКАНСКОЙ ПОЭЗИИ

РИЧАРД ОЛДИНГТОН (1892-1962)

К дереву

Зачем ты здесь –
дрожа, клонясь, колеблясь
Между потоком пенным и дорогой?..

Смотри, несутся мимо,
пыль вздымая,
Водители и велосипедисты,
Возы плетутся с грузом на рассвете,
Влюбленные шныряют по ночам...

Ты всех прохожих лучше и пригожей,
Сорвись с корней –
и зашагай меж ними!

Я знаю, что творит влюбленный ветер:
Тебя целует в губы он, и вечно
Он норовит задрать твою листву
Серебряной подкладкою наружу.
Лазурью небо купол твой пронзает,
И дождь кору слезами орошает
В любовной муке...

Я видел, как луна совала тайно
Приго́ршни серебра в твои карманы,
Пока ты заплетало на ночь косы.
Я видел, как седой туман клубился
Вокруг колен твоих, их обнимая,
Как юноша застенчивый и робкий.

Я знаю тебя с детства – каждый день
Мой взгляд искал тебя и находил...
Но, право, ты знавало мало страсти
От равнодушно проходящих мимо –
Покинь их!..
И пустись вниз по дороге,
За возчиками медленно шагая.

Там, за холмом, живут красавцы-буки...
Что ж тут торчать
без смысла и без прока?..

УИНСТОН ХЬЮ ОДЕН
(1907-1973)

Игра в солдатики

– Что там за шум?..
Этот маршевый шаг,
Гром барабанов, что бьет по ушам...
– Это всего лишь солдатики в ряд
В алых мундирах вдоль речки спешат.

– Что там за свет, что слепит нам глаза
Через равнины, поля и леса?..
– Это лишь солнце на грозных штыках
Мерному шагу качается в такт.

– Что они делают утром таким
С этим бессчетным оружьем своим?..
– Это всего лишь маневры, дружок,
Впрок беспокойным соседям урок.

– Видишь, свернули с дороги они,
Видишь, текут грозной лавой они?..
– Брось, они заняты службой своей,
Встань же с колен, свои страхи развей.

– Чтó бы им сделать привал на пути:
Раны утишить, коней напоить...
– Нету у них ни увечий, ни ран –
Все это только игра и обман.

– С краю селения пастора дом –
Может быть, он с генералом знаком?..
– Нет, моя радость, стремятся вперед,
Мимо его небогатых ворот.

– Фермер прижимистый там же живет...
– Нет, дорогая, не кончен поход:
Ферму они стороной обошли,
Ближе и ближе, на бег перешли...

– О, но куда же ты, милый?!..
Постой!..
Не предавай нашей клятвы святой!..
– Да, помню все, что тебе обещал,
Только вот жизнь мне дороже...
Прощай!..

Сбиты засовы, крошат топоры
Двери в финале той страшной игры.
Грохот сапог, половицы трещат,
Волчьим прищуром глаза их горят.

ЛУИС МАКНИС
(1907-1963)

На балете

Жизнь – лишь мгновенья...
Пара на балете.
Он близорук, он видит в дымном свете
Лишь пятна пачек,
И, объемля зал,
Мелодия вздувает паруса.

Лихие па на фоне пасторальном,
Напудренные маски зазеркалья,
Бумажные цветы...
Нагие руки
Колышутся под ветром там и тут,
Как водоросли в дедовом пруду.
Он думает: теперь, сейчас, вдвоем,
Мы, вечные, беспечные, плывем
Без паруса и вёсел
В этом вальсе –
Ты в белом платье с красным пояском...

Но смолкло все,
Скрыл занавес танцоров.
Река споткнулась о порог, который
Той нашей лодочке уже не взять
(Ну, если только разлететься в щепки...)
Пора, увы, репертуар менять.

Итак, герои женятся, чтоб стать
Друг другу ближе (никогда не стать
Им ближе, чем тогда...)
Их разделяют
Их кофе утренний, вечерний чай,
И дети, и газеты, и счета,
И прочая тщета и суета.

Порою, просыпаясь по ночам,
Она, застыв у мужнина плеча,
Его дыханье слушает
И тщится
Понять: все это стоило того?..

Иль надо было им, двоим, тогда,
В томленье смутном,
Меж теней бесплотных,
Рискнуть, отдавшись бегу той реки,
Куда-то в вечность уносящей воды
И белые бумажные цветы.

ЭМИЛИ ДИКИНСОН
(1830-1886)

* * *

Ты кто?.. Никто?..
И я никто –
давай держаться вместе!
И избегать всех прочих, кто
гнобит нас честь по чести.

Как это скучно –
быть собой,
являть собой кого-то,
чтоб важно квакать день-деньской
над собственным болотом.

Бабье лето

В такие дни наперекор природе
Вдруг птицы возвращаются назад:
Одна иль две –
прощальный бросить взгляд.

И небеса из шкафа по ошибке
Опять июньский достают наряд:
Лазоревый и золотом расшитый.

Пусть эта пышная фата-моргана
Не одурачит пчел и муравьев,
Но человек предаться ей готов.

Хотя уже, как весть о расставанье,
Янтарный лист мелькнет на сквозняке,
И колос долу клонится в тоске.

Дай приобщиться нам с восторгом детским
Вот этой дымки, морока и блеска,
Как на земле вовек заведено.

Дай причаститься таинства святого,
Чтоб хлеб надежды преломивши, снова
Испить с тобой бессмертия вино!..

* * *

Нет корабля стремительней романа,
Что нас уносит за моря и страны,
А стих-охотник в сумраке лесов
Трубит в рожок,
и мы спешим на зов.

Ах, книги – золоченые кареты!..
Для них ни бедных,
ни убогих нету.
Они творят бесплатно чудеса,
Взнося людские души в небеса!

КАРЛ СЭНДБЕРГ
(1878-1967)

Размышления

Я думал о травах и пене морской,
О радости рядом с тоской.
О пышных палаццо, что в землю ушли,
Исчезнув с лица земли.
О встречах влюбленных –
у каждой такой
Разлука стоит за спиной.
Я думал о той одинокой звезде,
О паре пичужек в гнезде,
И о закатах, сползающих в темь,
Как будто в предсмертную сень.
Я жаждал свободы,
чтоб, к звездам взлетев,
Вселенной найти предел...
И небо молил,
чтоб не стал мир иным –
Чтоб дальше смеяться
и плакать над ним.

АРЧИБАЛЬД МАКЛИШ
(1892-1982)

Ars Poetica[1]

Стих должен впечатлять меня на ощупь –
как дыня,
всею выпуклостью женской.

К тому же, должен в сердцевине он
таить секрет,
как бабкин медальон.
И быть немым – и говорить при том,
как стертый камень,
мхом поросший дом.

[1] Искусство стихосложения (лат.)

Он должен быть беззвучным,
словно клин
нездешних птиц над городом моим.

Он должен ждать,
как воин на часах,
пока луна взберется в небеса,

И разберет, не торопясь, на ветки
ночные кроны,
спутанные ветром,

И кануть в зимних тучах без остатка,
как сонм воспоминаний
горько-сладких...

Полжизни провести в засаде той,
чтоб после полной
воссиять луной.

Стих должен быть отчаянным враньем –
правдивей правды
раз в пятьсот при том.

Слабо вам горе втиснуть
в пару строк:
дверь хлопает, листва через порог...

Любовь?..
Все просто: смятые цветы,
гул моря и над бездной две звезды...

Ну, словом, не канючить и не ныть:
стих должен –
быть.

ДИЛАН ТОМАС
(1934-1953)

Memento

Вот этот хлеб недавно был зерном,
И наливались ягоды вином.
Но хищный то ли зверь, то ль человек
Все поле вытоптал, развеял листья
И алым ягодам не дал налиться.

Еще недавно солнце поутру
Стучалось в щеки яблок на ветру,

Колосья здесь резвились, словно дети.
Но человек то солнце загасил
И задушил железной хваткой ветер.

И если ты разносишь чей-то кров,
Спуская в землю жертвенную кровь,
Как сок телесный, что питал посевы,
Живые корни руша по пути:
Меня **ты ешь,**
и пьешь *меня* – учти.

*** * ***

Нет, смерти никогда не победить –
Ведь мертвые живут опять и снова
В телах живых, что пляшут нагишом
Под лунным светом, ветром и дождем;
Плоть износив, рассыпав в поле кости,
Мы превратимся в новые созвездья;
Все сумасшедшие вернутся в разум,
Утопленники все восстанут разом
Из сотен океанов и морей;
Влюбленные умрут,
но страсти – жить...
Нет, смерти никогда не победить.

И смерти праздновать триумф не надо:
Пусть даже в бездну втянет нас торнадо,
С тропинки горной соскользнет нога,
Или колеса перемелют ребра;
Пусть утешенья в вере не найти,
Пусть, все сметая на своем пути,
Зло грудь пронзает нам единорогом –
Душа не треснет, разум не погнется,
И обретет их сущность, пусть иная...
Нет, смерти праздновать триумф не надо:

Нет, смерти никогда не победить –
Пусть море тяжко бьет в глухие камни,
Пусть чайки воплями тревожат слух,
Пусть все цветы сорвало нынче ветром,
К земле прибило ливнем несусветным;
Пускай тела людей никчемны, ржавы –
Душа пробьется сквозь цветы и травы,
Чтоб рядом с Солнцем
в вечности парить...
И смерти никогда не победить!..

МИРМЕХДИ АГАОГЛУ

За день до праздника

Зарисовка

Перевод Ниджата МАМЕДОВА

Руки стали мешать ему, как только он вышел из дома. Он ощущал себя кораблем, желающим избавиться от лишнего груза в первом же порту. Он не знал, куда деть руки в такси, а когда зашел в поликлинику, они не хотели смирно лежать в карманах: оставшись без присмотра, они то гладили выцветшие доски регистратуры, то пытались теребить лицо. Необходимо было все время следить за ними! Он чувствовал, что его руки выходят из-под контроля, как мятежники, которые отказываются подчиняться центральной исполнительной власти. Но в такой напряженный период недопустимо терять контроль! Он мог бы кое-как справиться с руками, но как насчет соседних «стран»? Они оставили свои границы полностью без наблюдения, не придерживаясь никакого карантина. Вот, например, этот мужчина. Он появился откуда-то, как фокусник, и встал рядом, не соблюдая социальной дистанции:

– Куда это прикрепить? – спросил он хриплым грубым голосом, не вязавшимся с его маленьким ростом, поднимая над головой, как трофей, пластиковую мыльницу, в которой в эти дни мог быть только спирт для дезинфекции.

Он вздрогнул, вздрогнули и толстая медсестра, исчезнувшая среди карточек по ту сторону широкого незастекленного окна регистратуры, и медсестра с длинными желтыми волосами, заполнявшая его карточку.

– Что? – равнодушно спросила пухлая медсестра, прохаживаясь среди карточек.

– Да вот это, это, – сказал мужчина, подходя к окну и протягивая мыльницу, – спирт.

Он отступил на шаг и натянул маску на нос. Когда он поднял маску на нос, от дыхания, выходящего из его рта, запотели стекла очков, и он перестал видеть.

– Откуда нам знать? – промолвила на сей раз светловолосая медсестра, которая сидела по другую сторону окна, смотрела в карточку и заполняла документы. – Прикрепи к двери. Пусть входящие спиртуют руки.

– Разве там есть место? – мужчина повернулся и посмотрел на дверь. – Вы задаете мне лишнюю работу. Да сразит Бог того, кто выдумал эту корону. Спокойно ведь себе жили. Из-за него мы не сможем поехать в район на праздник, – похоже, мужчина хотел выплеснуть свою боль, потому и говорил некстати.

– Разве дверь – это не место? Почему ты не сможешь поехать?

– Говорят, что тех, кто прописан в районах, не пустят в Баку, когда они вернутся после праздника. Кроме того, кажется, мы работаем и в праздники, вот я и не пойму.

– Тебя лучше вообще никуда не пускать, – засмеялась медсестра, прохаживающаяся среди карточек.

– Хватит. Сам виноват, что делюсь с вами, – рассердился мужчина. – Куда теперь это прибить? К двери тяжело – стена каменная, а вот тут – дерево.

– Прибей к окну, дядя Фамиль, – сказала нежным голосом молодая девушка в серой водолазке, из которой ее маленькие круглые груди выпирали, как пара грязе-

вых вулканов; она вышла в узкой черной юбке выше колен из соседней комнаты, засунув руки в карманы белого халата. – Пусть подходящие к регистратуре спиртуют руки, – сказал она и, словно ожидая благодарности или какого-то знака в обмен на такое любезное предложение, посмотрела на него, и на мгновение их глаза встретились. Ему были видны только её глаза и брови, потому что на лице у женщины была маска. Края ее черных миндалевидных глаз были удлинены, а ее длинные ресницы плясали в воздухе, когда она моргала. Ему казалось, что он никогда в жизни не видел такого чуда. Женщина отвела взгляд от его глаз, которые глядели на нее с изумлением, и упорхнула вглубь коридора.

Никто больше ничего не добавил к ее словам.

Сколько раз он видел такие красивые глаза с тех пор, как распространилась угроза коронавируса! Сначала он не знал причины, но по мере того, как его удивление перед женскими глазами росло, он понял, что это потому, что женщины были в масках. В дополнение к их важной миссии по защите людей, синие медицинские маски перекрывали переднюю часть лица, с мастерством настоящего концептуального художника позволяя глазам раскрыть их эстетические возможности.

– Эхе, эхе, – кашель, который взорвался гранатой в его груди и обжег легкие, вырвавшись изо рта, пресек культурологические потуги сознания. «Ты пришел сюда не для того, чтобы погружаться в философские и эстетические мысли», – подумал он.

– Участковый врач на месте?

– Да, – сказала открывшая ему карточку светловолосая медсестра, не поднимая головы.

– Подождите пять минут, я заполню карточку, и вы подниметесь к ней.

Человек, которого доктор с красивыми глазами назвала дядей Фамилем, больше не встревал, но, тем не менее, наводил трепет ударами своего молотка.

Крашеная блондинка поглядывала налево и направо, пока заполняла карточку. Ему казалось, что он вернулся на 30 лет назад на машине времени. Одинаковые высокие коридоры, одинаковые плиты на полу в форме ульев, изъеденные лестницы, длинные, тускло освещенные деревянные окна и пожелтевшие, покрытые натуральным архивным окрасом карточки, тесно расставленные на полках. Очень немногие детали нарушали эту древность – государственные символы на стене, картины или мыльница, которую доктор с красивыми глазами попросила дядю Фамиля прибить к стене. В прежние времена таких емкостей или жидкого мыла и в помине не было, они появились совсем недавно. С падением советской власти на смену русскому мылу «Балет», «Свобода», «Алиса», «Тик-так», «Цветное» и «Яблоневый цвет» в ярких обертках пришли ядовито-синее иранское мыло, от которого щипало кожу.

– Ваша профессия? – медсестра из регистратуры вывела его из мира грез, а пухленькая медсестра, которая прохаживалась среди карточек, все еще складывала какие-то документы. В последнее время он часто вспоминал свое детство, как будто ему нечему было радоваться в середине жизни, и часто погружался в свое детство, утешаясь тем, что сдувал пыль с крохотных воспоминаний, найденных там.

– Журналист.

Пишущая женщина подняла голову и посмотрела ему в лицо, как будто профессия человека написана на лбу, и она хотела посмотреть, не лжет ли он. Правда, людей с такими способностями немало, но ему не верилось в существование этой способности у блондинки.

– Ну, очень хорошо, – сказала она, снова опустив голову.

– Готово, – прогремел дядя Фамиль.

Пухлая медсестра, прогуливающаяся среди карточек, подошла к окну, осторожно высунула голову и краем глаза посмотрела на прибитую к окну мыльницу, наполненную спиртом.

– Хорошо. Спасибо, дядя Фамиль.

Этот маленький человечек по имени Фамиль, который помимо того, что приходился дядей всем здешним врачам, беспокоился также о том, что не сможет поехать в район во время праздника. Он прихватил принесенный с собой молоток и ушел, ничего не сказав. Жаль.

Ездить на Новруз в родной край было его любимой привычкой. Хотя он жил в Баку, каждый год он уезжал рано утром 20 марта в деревню, посещал кладбище и обычно возвращался после полудня. В этот день все родственники бывали там: и живые, и мертвые. В этот день встречались те, кто истосковался по встрече. Если бы он не заболел и если бы не запретили посещать районы из-за коронавируса, он мог бы быть одним из гостей на пиру.

– Ваш участковый врач сидит на втором этаже в комнате 16, – обернулась к нему медсестра, «контролировавшая» работу дяди Фамиля. – Сейчас дадим карточку, подниметесь к ней.

– Ага, хорошо, – его голос под маской зазвучал глухо.

– Вы еще и журналист. Почему вы до сих пор не открыли карточку? – разведывательный вопрос медсестры прозвучал с насмешкой с силой в один балл.

Ему казалось, что пухленькая медсестра ходила среди документов понарошку, чтобы притвориться занятой, а ее настоящая профессия – допрашивать приходящих.

– Наверное, вы недавно переехали в этот район?

– Нет, почти 3 года.

– Тогда почему?

– Знаете? – он выдержал паузу, догадываясь, что она собиралась сказать, и дважды слегка кашлянул. – В последний раз поликлинику я посещал в детстве.

– Почему? Не доверяете врачам? – с улыбкой на лице толстушка как бы говорила: «Послушайте, мы не из тех врачей». Она чуть ли не покачивала телесами на манер кокеток, пытающихся сильнее влюбить в себя любовников, но, к счастью, они не были любовниками, да и это наполовину гимнастическое, наполовину флиртовое движение никак не шло ее талии, напоминающей талию моржихи.

Другая медсестра все еще переворачивала карточку снова и снова и что-то писала.

– Вопрос не в том, стоит ли доверять врачам. При необходимости я хожу в больницу, частные клиники. А так стараюсь обходить врачей.

– Очень напрасно, – снова хитро улыбнулась «моржиха».

– Если бы я знал, что ваша поликлиника такая...

– Какая?

– Она напомнила мне поликлинику, в которую я ходил в детстве, мне очень понравилось. Давно надо было зарегистрироваться. С этого момента я буду приходить чаще.

– Не дай бог, но всегда добро пожаловать.

«Интересно, так ли они ласковы со всеми, или они смягчились, узнав, что я журналист?» – подумал он про себя.

– Пожалуйста, вот ваша карточка, второй этаж, 16-я комната, – сказала блондинка, протягивая ему удостоверение личности и документы.

– Вернуть его вам, когда уйду?

– Нет, пусть остается у доктора, – опередила напарницу толстая медсестра.

– Хорошо, спасибо большое, – он взял карточку и посмотрел на обложку.

С краю карандашом было написано «журналист». Он улыбнулся. Оказалось, что он носил с собой наверх историю болезни не только в качестве пациента, но и как посыльный с важными новостями: будьте осторожны, перед вами – журналист.

– Сколько я должен?

– Нисколько. Это государственная больница, все бесплатно.

Пухлая медсестра, стоявшая над головой госпожи делопроизводительницы, попыталась искренне улыбнуться, но на ее лице была заметна неопытность первокурсницы факультета актерского мастерства, которая еще не научилась искренне улыбаться.

– А доктору? – всё равно у него в кармане было всего пять манатов, остальное лежало на карте.

– Абсолютно ничего, – снова тот же смех.

Утром он вышел из дома в такой спешке, что не успел снять деньги в банкомате.

– Тогда позвольте мне этого спирта на почин, – сказал он, отправив карточку себе под мышку и протягивая руки под мыльницу. – И счастливого Новруза, – так же театрально улыбнулся он и, кажется, у него это вышло лучше, но вдруг вспомнил, что улыбка пропала под маской, которая скрывала большую часть лица.

Он поправил маску и поднялся по лестнице.

Он сильно кашлял около недели, болело горло, температуры не было, но ощущалась слабость. Каждый день на работе полушутя-полусерьезно его просили не приходить: если вдруг заразишься коронавирусом, нас тоже заразишь, – говорили ему. Однако по мере того, как количество заражений в мире и в стране увеличивалось, намеки становились все менее и менее шутливыми. Поэтому он не выходил на работу три дня и отлеживался в постели. Всё равно до праздника Новруз оставалось мало, лучше отдохнуть дома.

Сегодня днем, увидев, что кашель усиливается, жена нашла номер телефона и позвонила в поликлинику, где они до сих пор не были зарегистрированы. Когда она узнала, что участковые врачи работают только до 12 и скоро уйдут, то она наказала ему не медлить, вызвать такси и немедленно ехать в поликлинику. Как будто жена заподозрила, что у него может быть коронавирус. С момента появления этой заразы выйти из дома и войти обратно было труднее, чем войти в посольство Израиля. Жена устроила дома частный Оперативный Штаб, часто собирая его и сына на пресс-конференцию за кухонным столом, вводя строгие ограничения: не выходить без маски, придя с улицы, первым делом – в ванную, 30 секунд мыть руки с мылом, снимать обувь снаружи, войдя в квартиру, немедленно менять верхнюю одежду и не бросать её куда попало, ничего не трогать снаружи, а если тронули, то «проспиртоваться», а главное – не ходить на кухню и не открывать крышку кастрюли, не вымыв руки, – последний запрет относился лично к нему.

Он немного опустил маску. Поднимаясь по лестнице, он пыхтел, стекла очков затуманились.

Вот и 16-й номер.

Участкового врача на месте не было. В соседней комнате ели две женщины, одна пожилая, другая молодая, по их голосам он не смог определить врачи они или медсестры.

Пожилая сказала молодой:

– Ты мыла руки?

– Да.

– Моя дочь говорит, чем плох в коронавирусе, так это тем, что посреди еды ты вдруг вспоминаешь, что не вымыл руки, и весь аппетит пропадает.

Они засмеялись. Ему тоже понравилась беседа.

– На днях я спрашиваю своего племянника, который учится в третьем классе, почему ты не ходишь в школу? А он возьми да ответь: у нас праздник коронавируса, нас отпустили на каникулы. – А это сказала молодая медсестра. Они снова засмеялись.

– Нынешние дети за словом в карман не лезут. Вот и мой внук...

Он прошел немного вперед, чтобы увидеть, та ли самая это девушка с красивыми глазами, которую он только что видел. Нет, не она.

Увидев его, женщины смолкли, пожилая вышла в коридор узнать, что ему нужно, и сказала, что участковый врач на собрании и скоро придет.

Дверь в кабинет участкового врача была открыта.

В коридоре сидеть было не на чем, поэтому пожилая медсестра не возразила, чтобы он вошел и подождал.

Она вошла за ним.

– Я помешал вам поесть.

– Все в порядке, – сказала женщина.

– Собрание связано с коронавирусом? – спросил он из любопытства.

– Да, мы перешли в усиленный режим. Будем работать в праздник.

– Тетя Фатьма, ты идешь?

Вероятно, это была девушка, которая ела, она звала сотрапезницу к столу.

Пожилая медсестра оглянулась и ответила:

– Есть больной.

Ему показалось, что женщина употребила слово «больной» не в медицинском смысле, а в смысле «глупый человек», который прервал их трапезу.

– Я подожду в коридоре, – сказал он.

– Не волнуйтесь, у меня уже дела в комнате.

– Поздно придет? Мне сказали, что она будет здесь до двенадцати.

– Сейчас придет.

Он сел в кожаное кресло цвета сумаха, стоявшее перед окном. Медсестра подошла к шкафу и начала разбирать медицинские принадлежности.

Он оглядел комнату. Здесь всё – все медицинские инструменты, названия которых он не знал в точности, стерилизатор, медицинские горшки, весы, даже длинное кожаное кресло цвета сумаха перед окном, стол и стулья – всё было советских времен. Стерилизационная машина была промаркирована буквами на кириллице. Как будто здесь не царила атмосфера независимости. Честно говоря, он был этому больше рад, чем сожалел. Каждый предмет напоминал поликлиники, которые он некогда посещал. Как будто он попал в музей истории медицины. Он подумал: интересно, есть ли в Азербайджане такой музей? Ему пришло в голову, что здесь, словно в настоящем павильоне, можно снять фильм о советских временах.

– Почему тут всё без ремонта?

– Говорят, денег нет.

Пожилая женщина щедро разбалтывала секреты поликлиники, потому что не знала, что он журналист.

– Сколько мне дать врачу?

Она обернулась и подозрительно посмотрела на него.

– Вы впервые идете к врачу?

– В частных клиниках цены на все говорят заранее, и ты знаешь, что делать, даже если это дорого. Мне сказали, что государственные больницы бесплатные, вот я и пришёл.

– Государственная больница – пустое название. Покупаем все из собственных карманов.

– Мне сделают рентген? – поинтересовался он, так как жена проинструктировала его по этому поводу.

– Это скажет врач.

– Сколько я ему должен дать?

– Смотрите сами, наверно, 5 манатов. Пленку тоже покупаем сами.

На самом деле он очень волновался, вдруг у него попросят денег, что он будет делать?

– Я журналист. Если обследование платное, я позвоню в соответствующие ведомства и спрошу, зачем они обманывают народ? Почему они не обеспечивают больницы лекарствами и пленками?

Медсестра опешила. Он понял, что поступает неблагородно, но слово – не воробей.

– Хоть здесь журналистикой не занимайтесь. Разве вы всегда пишете правду? – спросила медсестра обиженно.

Он растерялся:

– Не могу говорить за других, но я...

Она перебила его:

– Видим всё на сайтах. Не думайте, что я не пользуюсь интернетом, раз пожилая.

Разговор свернул в не очень хорошую сторону. Оторвал от еды женщину, которая ему в матери годится, а затем довёл до белого каления. Ему захотелось разрядить ситуацию:

– Как назло, я не прихватил с собой денег. Поблизости есть банкомат? Может, мне пойти за деньгами до прихода врача?

– Как хотите, – недружелюбно сказала медсестра.

– Конечно, как хочу, – сказал он, не отступая на этот раз. – Я просто хочу знать, не продлится ли собрание. Если да, пойду и найду банкомат.

Тут вошла врач средних лет.

– Севиль-ханым, у вас пациент, – выпалила медсестра, с которой он разговаривал, будто избавлялась от него, – к тому же, он журналист.

– Очень хорошо, – сказала врач, оборачиваясь к нему, – извините, заставила ждать, мы были на собрании.

– Нет проблем, я боялся, что вы уйдете и не успеете меня принять.

– По какому адресу вы проживаете? – доктор села за свой стол.

Сказав адрес, он последовал приглашению врача и сел напротив.

– Я вас никогда не видела.

– Я прихожу впервые.

– Можете дать карточку? – она открыла карточку и увидела, что та пустая. – Почему вы до сих пор не зарегистрировались?

– Честно говоря, избегаю врачей, немного халатен.

– Ясно. На что жалуетесь?

– Кашляю, болит горло. Боюсь, вдруг у меня коронавирус.

– Сейчас проверим. Температура есть?

– Нет.

– Измерим, – сказал она, открывая тумбочку рядом со столом и беря градусник. – Сколько дней вы болеете?

– Около недели.

– Вы куда-нибудь ездили в последние четырнадцать дней?

– Нет.

Она вынула термометр из контейнера и протянула ему: – Пожалуйста, положите себе подмышку. Вы контактировали с иностранцами?

– Нет.

В это время в коридоре раздался голос пожилого мужчины:

– Кто собирает деньги?

Мужчина просунул голову в дверь, как змея в дупло дятла. Он посмотрел на мужчину снизу вверх, тот был лыс.

– Доктор Севиль, вы давали? Главврач сказал, что мы собираем по 1 манату, да?

– Положите за меня, я верну.

– Хорошо, – сказал человек, утягивая голову, точно змея из гнезда, и удалился, грохоча, как железная банка на ветру.

– Пожалуйста, подойдите к окну.

Он прошел и стал ждать. Врач что-то записала в карточке и сорвала бумажную обложку с деревянной медицинской ложки в виде бляшки, взятой из пенала на столе. Она встала и подошла к нему.

– Широко откройте рот и высуньте язык.

Доктор одной рукой направила фонарик ему в рот, а другой сунула ложку: у него образовался рвотный рефлекс.

– Потерпите минуточку, – сказала доктор.

Присутствие инородного тела в горле вызывало тошноту, но он кое-как удержался.

Доктор закончила осмотр и сказала:

– У вас опухло горло, наверное, выпили холодной воды.

– Ей-богу, не помню, – беспомощно пожал он плечами.

– Дайте мне градусник.

Он достал термометр и осторожно протянул его. Врач посмотрел на градусник:

– Температуры нет. Пожалуйста, снимите верхнюю одежду. Затем поднимите свитер.

Он повернулся к окну, снял куртку и приподнял свитер. Врач приложила к его спине фонендоскоп. Хотя ему было стыдно показывать свое тело чужой женщине, холодное прикосновение инструмента отогнало весь стыд.

– Вдох-выдох. Не спешите.

Он сделал, как сказала доктор.

Длинное деревянное окно выходило во двор поликлиники. Во дворе росли высокие деревья, розы, несколько безымянных цветочных кустов и темнел пересохший бассейн. Изредка появлялись мужчины и женщины в белых халатах, а также посетители без халатов, которые пришли на обследование. Он поискал взглядом, но не нашел доктора с прекрасными глазами, зато увидел дядю Фамиля: на сей раз он, опустив маску под подбородок, тянул толстый желтый шланг, напоминающий анаконду и, хотя небольшие габариты портили его сходство с силачом, сражался со шлангом как, Бахрамгюр с драконом, и победа была близка.

– Вдох, – участковый врач водила фонендоскопом по его спине, словно играла в шашки.

Какой тихий дворик с другой стороны здания поликлиники, вдали от кипучей городской атмосферы! Точно как воспоминания! Он на мгновение ушел в грезы, ища свое детство посреди двора. Ему казалось, что он потерял детство в таком тихом месте и не может его найти даже после многих лет поисков.

– Можете опустить рубашку. – Сказала врач, садясь за стол, – ничего серьезного. В любом случае сделаем рентген. Я сейчас вас направлю.

Они прошли через двор, в который он только что выглянул из окна, чтобы сходить на рентген.

Это была одноэтажная постройка, примыкающая к главному корпусу. Участковый врач пришла вместе с ним и попросила подождать в первой комнате, сама зашла в комнату, затем вышла и сказала рентгенологу, что у нее пациент, и ушла.

В помещении, которое можно было бы назвать приемной, не было ничего, кроме старого стола янтарного цвета.

Он прошелся внутри. Остановился перед окном, выходящим во двор. Белые доски окна и края грязного стекла покрыты паутиной. Оттуда он посмотрел на бассейн, деревья и прохожих, всё как будто из фильма советских времен. Он вспомнил, что стены поликлиники, которую он посещал, украшали изображения улыбающихся детей. А эти стены почти стыдились своей наготы.

– Идемте, – окликнула врач-рентгенолог после ухода предыдущего пациента. На столе позади врача были разложены пленки размером с карточки.

– Снимайте верхнюю одежду и проходите сюда, – сказал она, указывая рукой.

То, что врач-рентгенолог назвала «сюда», было таким же старым и истощенным, как и она сама, но большим рентгеновским аппаратом. Ему давно место на металлоломе, но здесь вот пока пользовались. Трудно было поверить, что это огромное устройство, напоминающее сломанный комбайн, брошенный на край зернового поля, может заснять внутренности человека. Женщина завела машину. Ему казалось, что устройство, в которое он вошел, сейчас сплющит его как бутерброд. Он раскрыл руки и ждал. Женщина подняла какой-то рычаг на фоне хрипа умирающей машины. Глядя на ржавую металлическую пластину перед собой, он подумал, что было бы здорово, если бы хоть одна из врачей, которые общались с ним в течение длительного времени, оказалась той девушкой с прекрасными глазами, мир не рухнул бы. Почему-то ни одна из врачей не оказывалась той девушкой, и мир не рушился. Может, коронавирус и был обрушением мира, как знать!

– Готово, выходите.

Он оделся и спросил:

– Сколько?

– Нисколько, – вероятно, участковый врач успела ей сказать, что он был журналистом, не то кто стал бы делать ему бесплатный снимок.

– Пленки для рентгена дает государство?

– Как-нибудь сами обходимся, – ответила врач, заполняя карточку, – результат узнаете у участкового врача, он будет известен через 3 дня.

Ему стало жаль старую женщину, интересно, сколько радиации она получила за все эти годы?! Но все еще жива. Он хотел отдать этой женщине единственные пять манатов, что лежали у него в кармане. Затем передумал, желая сохранить в своей биографии первое бесплатное медицинское обследование. В конце концов он решил отдать деньги участковому врачу.

– Доктор, ничего серьезного нет? – он снова был в кабинете врача.

– Нет, просто нужно немного побыть на постельном режиме. Сейчас я пропишу вам пару уколов и таблеток.

– Я не подхвачу коронавирус?

– Нет, никаких признаков не видно. Но в любом случае нужно быть осторожным.

– Доктор, как вы считаете, коронавирус представляет собой серьезную угрозу или нет? – Он читал и писал десятки новостей в день о вирусе, но, несмотря на это, спросил с наивностью ребенка. Как будто все ответы были спрятаны между губами доктора, «арестованными» за маской.

– Да, это серьезно. Разве вы не следите за тем, что происходит в Китае, Иране, Италии?

– Что же нам делать? – разговор неизбежно сосредотачивался на той теме, о которой они говорили каждый день на работе.

– Необходимо строго соблюдать правила гигиены. Носите маску, соблюдайте социальную дистанцию, не ходите в людные места, старайтесь оставаться дома. Вот так.

Оба замолчали.

– Пропишу вам уколы и лекарства. Есть кому колоть?

– Жена может, это сильные уколы?

– Это витамин С, – сказала врач, продолжая писать.

Он вынул пятерку из кармана и сунул купюру между стопками бумаг на столе.

– Доктор!..

– Что вы? – возразила доктор, не поднимая головы.

– Да так, пустяки. Вам тяжело приходится. И я только что увидел, что собирают деньги. Мы перешли на обязательное страхование, но до сих пор эти вредные привычки нас не отпускают.

– Не говорите. Но в этом не было необходимости. Хорошо, что вспомнила, я написала на рецепте номер телефона. Сфотографируйте удостоверения личности тех, кто прописан в вашей квартире, и отправьте на мой ватсап.

– Для чего?

– Мы как-то пришли зарегистрировать вас, но никого не было дома. Это необходимо для обязательного страхования. Мы всех регистрируем.

– Хорошо.

– Я открываю вам бюллетень. Придете через три дня, я вас осмотрю и при необходимости продлю еще на три дня.

– Двадцать второго?

– Да.

– Будете работать?

– Да, на праздник будем работать.

– Тяжелая у вас работа. Бог в помощь.

Он положил рецепт в карман и вышел из комнаты, спустившись по лестнице. Сначала он снова захотел «проспиртоваться» перед регистратурой, потом передумал, чтобы не встречаться с тамошними медсестрами. Ему показалось, что он поступил неправильно, ничего не давая медсестрам. Он схватился, как рак клешнями, двумя пальцами за длинную железную ручку тяжелой деревянной двери, чтобы не пачкаться, и кое-как выбрался наружу.

На улице стояла солнечная погода, возвещавшая о приходе весны. Он спустил маску на подбородок и, несмотря на болезнь, вдохнул полной грудью холодный воздух. На сей раз обошлось. Но все равно нужно быть осторожным. Идя к автобусной остановке, он подумал, что купит как можно больше спирта и масок в первой попавшейся аптеке, и что останется дома во время каникул, как бы это ни было сложно.

И тут ему встретилась девушка в маске. Он невольно улыбнулся. Он подумал, что коронавирус принес и хорошее: например, девушек с красивыми глазами.